

Виталий ПОЛОЗОВ

ПРОЩЕНЬИЙ
ХЛЕБ



Виталий ПОЛОЗОВ

ПРОЩЕНЬИ
ХЛЕБ



Полозов В.

Прощеный хлеб: Повесть и рассказы. — Корнталь: Свет на Востоке,
2010. — 288 с.

ISBN 978-3-939887-63-8

Редакторы: Галина Вольф, Екатерина Гертель
Корректоры: Маргарита Кливер, Елена Пеннер
Обложка, верстка и дизайн: Андрей Цорн

Изд. № 01.446

ISBN 978-3-939887-63-8

© Полозов Виталий, 2010

*Я посвящаю эту книгу всей необъятной Церкви Христовой,
в которой, где-то в общем ряду, стоит и моя небольшая
поместная церковь. Церковь, которая стала моим домом
и без которой я не мыслю своего существования,
где каждый её брат и сестра мне необычайно дорог.
От самой крохотной Джинни до «самых-самых» —
старца Франца и старницы Аниты — моя дружеская семья.*

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Христианский читатель сравнительно недавно познакомился с литературным творчеством замечательного писателя Виталия Полозова. Его рассказы и повести на христианскую тему поражают глубиной мысли, самобытной выразительностью, правдивостью и искренностью, налетом тонкого юмора и достоверностью образов, что и неудивительно, так как каждое произведение его — жизненная история.

Виталий Полозов обладает также обостренным чувством природы и мастерством ее изображения, достигая почти физического впечатления у читателя (например, внезапного снегопада или разразившейся грозы), что всегда усиливает остроту восприятия описываемого события.

И предлагаемая читателю повесть «Время собирать камни» насыщена действием драматического характера и написана гибким, колоритным языком. Секрет бесспорной убедительности нарисованного автором преступного мира в повести — в глубоком и тонком знании жизни. Он как бы пропускает через себя жизненные коллизии и конфликты своих героев и с одинаковой пронзительностью раскрывает душу взрослого человека и ребенка. Поэтому его герои так близки читателю. Описывая далеко неблагочестивые действия своих героев, автор сохраняет баланс: нет в повести ни морализаторства, ни обеливания (снисходительности). Полозов, как и следует писателю, показывает жизнь, как она есть.

Его произведения заставляют задуматься, учат доброму, а главное — указывают на Того, Кто может жизнь преобразить и подарить человеку новое сердце, то есть на Иисуса Христа.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---------------------------|-----|
| От издателя..... | 7 |
| Время собирать камни..... | 11 |
| Глава 1..... | 13 |
| Глава 2..... | 19 |
| Глава 3..... | 30 |
| Глава 4..... | 34 |
| Глава 5..... | 40 |
| Глава 6..... | 49 |
| Глава 7..... | 55 |
| Глава 8..... | 72 |
| Глава 9..... | 81 |
| Глава 10..... | 89 |
| Глава 11..... | 101 |
| Глава 12..... | 113 |
| Глава 13..... | 129 |
| Глава 14..... | 147 |
| Глава 15..... | 163 |
| Глава 16..... | 170 |
| Глава 17..... | 177 |
| | |
| Цветы на снегу..... | 185 |
| Снегурки..... | 198 |

| | |
|--------------------------|-----|
| Звездный странник | 210 |
| Прощеный хлеб | 224 |
| Голос слышен в Раме..... | 245 |
| Горбушка хлеба | 265 |
| Я воззвал к Тебе | 278 |

Время собирать камни

*«Всему свое время, и время всякой вещи под небом...
Время разбрасывать камни, и время собирать камни»*

(Еккл. 3:1–5).

Поезд уже давно тащился по просторам Украины, то и дело останавливаясь даже на мелких полустанках. Ис каждой такой остановкой все тревожнее становилось на душе у рядового Павла Балана, бывшего штрафника, а ныне полноправного демобилизованного бойца Красной Армии. Свой боевой путь закончил он в Праге и теперь вместе с оставшимися в живых однополчанами возвращался на родину. Внешне он ничем не отличался от них: его грудь также украшала планка с медалями, и веселился он ничуть не меньше остальных. Вот только по мере приближения к родным местам у него почему-то таяла уверенность в будущем и откуда-то, из самых потаенных запасников памяти, исподволь закрадывался в душу подзабытый за военные годы страх. Не тот страх, что испытывает каждый солдат перед боем, — тот он давно научился преодолевать, — а другой: страх перед вездесущей охранкой НКВД, перед краснопогонниками, которые его никогда особо не жаловали. По слухам, их не очень-то впечатляют заслуги бывших зэков, какой бы

кровью они ни искупили свои грехи перед родиной. Не впечатляют до такой степени, что начинают ворошить старые дела. В зону, правда, не отсылают, но жизнь проходит «под колпаком». Слухи те имели под собой основание: об этом Павел узнал из письма однополчанина, бывшего, как и он, штрафника, «списанного» с фронта по ранению. В письме он советовал убраться куда подальше от родных мест. Наверное, еще и поэтому усиливалось то гнетущее предчувствие. К тому же непонятно, почему, но таяла надежда на встречу с матерью, его единственным на свете родным человеком. И вот уже уверенность, с которой он отправлялся в обратный путь, сменилась больше чем сомнениями. А ведь действительно: последний раз он услышал о том, что мама жива, где-то в сорок третьем. Услышал от отчима в зоне, где они встретились и виделись только два раза. Да и то коротко. И сейчас, глядя на разрушенные города и села, оставалось лишь гадать: жива ли она. Безысходное, тоскливое чувство собственной вины тяжелым гнетом давило на сердце.

Паровоз протяжно загудел и, раз за разом подергивая вагоны, как бы заторопился проскочить очередное разрушенное до основания село. В самой его середине обозначился остов двухэтажного здания со снесенной крышей и пустыми глазницами окон. А в самих вагонах уже смолкли шутки и смех. Там, за окнами, расстилалась печальная картина полной разрухи... На дороге, опираясь на посох, стояла старушка и, прикрывая ладонью глаза от закатного солнца, долгим взглядом провожала мчав-

шиеся мимо вагоны. В ее согбенной фигуре угадывалась покорность судьбе и тоскующее ожидание. С такой покорностью матери ждут с фронта своих детей. Вид одинокой старушки разбередил воспоминания. Павел забрался на верхнюю полку и лег, уставившись в потолок неподвижным взглядом. «Мама, только бы найти тебя живой. На руках буду носить. Все сделаю, только бы ты простила меня...»

Глава 1

Отца Пашка Балан помнил очень смутно. Единственное, что врезалось в память, — сахарный леденец на палочке в форме петушка. Сладкий до невозможности леденец пурпурного цвета, который он, дрожа от нетерпения и не вникая совету мамы не откусывать, быстро схрумкивал, а потом долго и тщательно обсасывал деревянную палочку. Вот этот петушок и ассоциировался у него с отцом. Леденцы он помнил отчетливо, отца — нет. В каждый свой приезд привозил он ему эти леденцы. Работал отец помощником машиниста на паровозе, водил грузовые составы и подолгу отсутствовал в разъездах. А однажды совсем не приехал. Где-то очень далеко от их городка, в украинской степи, какая-то банда остановила и разграбила вагоны, а паровозную команду вместе с уцелевшей охраной пустила в расход. Долго гоняла мать, долго и истово молилась на икону в углу,

которую раньше редко доставала из сундука. Ну, горюй — не горюй, а жить-то надо. Вот Пашка уже и в школу пошел: трудно одной поднимать сына, а тут вроде человек хороший попался. Сам вдовый. Скромный, услужливый. А главное — непьющий. И дом тоже свой в рабочем поселке на окраине городка имел. Не Бог весть какой, конечно, но свой. Пашку, опять же, к себе расположил. Ну, и не беда, что постарше ее на десяток лет, ему таких лет-то и не дашь вовсе.

Долго присматривалась мать, все не решалась — уговорили родственники да знакомые. В общем, оставил он свой дом под квартирантов и переехал к ней, и стал звать Пашка дядю Петра папкой. Жили они с мамкой — Ириной Балан, а теперь ставшей по мужу Ириной Требко, — вроде неплохо, без скандалов. Года два, считай, так жили: уж Пашка в четвертый класс пошел. Тут и уговорил отчим мать продать ее дом и переехать к нему, дескать, что ж нам на два-то дома жить, когда на вырученные деньги можно целое хозяйство завести. Да и пацану, мол, все больше надобно: то одно, то другое... Растет же парень.

Продали. И деньги все ему в сундук — деньгами мужик в доме распорядиться должен, а как же! Прошло совсем немного времени, и словно подменили того мужика. Заимев деньги, он устроился в какую-то не то кооперацию, не то заготконтору и стал отлучаться из дому на несколько дней кряду. Домой возвращался непременно ночью и почти всегда что-то притаскивал в больших коробках, сгружал с подводы и прятал в погребе

в сарае, на который навешивал огромный замок. И в последующие дни, что был дома, то и дело шнырял в свой сарай по нескольку раз на день. Нырнет в погреб, вылезет оттуда с мешком на загорбке, на телегу — и в город. Стал Петр до крайности подозрительным и однажды привел с незнакомым мужиком здорового пса по кличке Жук.

Кличку свою тот оправдывал, так как был совершенно черным, да и повадки его были жуковатые. Пес оказался злощій, о чем и предупредил бывший хозяин, помогая посадить Жука на укороченную цепь около заранее припасенной конуры. Пока был тут хозяин, Жук вел себя довольно миролюбиво. Распластавшись на земле, с вытянутой между передними лапами мордой, он действительно напоминал греющегося на солнце жука. Но как только хозяин ушел, пес забеспокоился. И при первой же попытке отчима познакомиться с ним поближе подтвердил свою репутацию таким злобным рыком, что тот едва успел отскочить. При этом не озлился отчим, а пришел в неописуемый восторг: именно такой сторож ему и нужен был. Поморил он Жука пару дней, потом не дал ему подохнуть с голода, накормив с руки кусочком мяса и подбросив в миску пару костей, и — все. Пес был теперь его навеки. Тогда и отпустил его Петр по всей длине проволоки, то есть от ограды до амбара и вокруг дома. Жук оказался довольно сообразительным и вел себя с каждым членом семьи соответственно: с заискивающим почтением с новым хозяином и довольно снисходительно с его женой. И только Пашку встречал радостно, и с неиз-

менным весельем. Отчим же становился все более раздражительным. Чуть что не по его — скандал матери такой закатит, хоть из дома беги. Да она, может, и сбежала бы с Пашкой, только некуда теперь. Совершенно случайно подслушал Пашка однажды, как взорвался отчим на увещевания матери перестать что-то делать и побояться Бога. Что именно перестать и почему бояться, он так и не понял тогда.

В тот раз он раньше вернулся из школы и крался на цыпочках в свою комнату, чтобы взять рогатку и незамеченным убежать на улицу. Ну, чтобы не успели его заставить что-то делать по дому. И остановился у двери, как вкопанный: Петр с матерью ругались. Последнее время ему казалось, что ругают они только его. А тут — между собой.

— Не суй свой нос, куда тебя не просят! — зловеще рычал отчим. — А не нравится — проваливай со своим выродком на все четыре стороны.

«Выродок» — это его недавнее обозначение пасынка. Совсем недавнее, но чаще других теперь употребляемое. И к этому уже привыкал Пашка, с тоской вспоминая время, когда родной отец называл его не иначе как «сын-нок». Да и отчим по первости прозвищ не употреблял: все — Паша, Паша. Теперь вот что ни день, то новое обидное прозвище.

— Я и рада бы, — расслышал Пашка тихий голос мамы, — да куды теперь пойдешь? Все ты у меня отнял.

— Рада, говоришь? — слышно было, как заскрипела табуретка под грузной тушей отчима. — Вот потому и от-

нял, чтобы не брыкалась. И запомни: пикнешь кому — угроблю!

Больше Пашка не мог скрываться. Ему показалось, что Петр уже замахнулся той табуреткой. Испугавшись за маму, он тут же вбежал в комнату и бросился к ней.

— Не трогай мамку!

И взвизгнул от боли: Петр ухватил его за ухо, больно завернул и не отпускал.

— Ты что, подслушивал, паценок? А ну, говори, что слышал! Что?

— Отпусти ребенка, изверг! — громко закричала мать и в отчаянии замахнулась погодившимся под руку ухватом. Крик тот для Пашки музыкой обернулся. Он понял, что мамка все так же любит его. В чем он последнее время стал сомневаться, находя тому все больше подтверждений, и оттого все больше замыкался в себе. От неожиданности Петр выпустил пасынка, и тот, бесконечно счастливый, прильнул к ней. Даже боль не смогла заглушить его радости.

Отчим чертыхнулся, пробормотал что-то невразумительное, плюнул под ноги и вышел из дому. Дня три-четыре не разговаривали родители друг с другом, и все эти дни наслаждался Пашка ласками матери и уговаривал ее уйти от ставшего ему ненавистным отчима. Ирина же только гладила его по голове, глядела куда-то в пространство и вздыхала тяжело: «Куды ж мы с тобой пойдем? Ни кола теперь, ни двора у нас нету. Подрастешь вот, работать пойдешь — тогда и уйдем, сынок. Обязательно уйдем. Если ты меня еще возьмешь».

— Да пошто ты так говоришь? — возмутился Пашка. — Как же я не возьму тебя?! Скажешь тоже! — И подгонял время, чтобы быстрее вырасти. Но вот помирились они, и снова Пашка на втором плане. И чем видимее мир между ними, тем неодолимее его желание быстрее стать взрослым.

Если же случится увидеть заботу матери об отчине, перевернется все в пацане: в такие минуты он ненавидел и ее. А как начнут они ругаться, — хотя какая там ругань, орал-то только он, — Пашке это бальзам на душу. Эх, пусть бы ругались, не переставая, тогда бы он каждый вечер с мамкой находился. Но больше всего его бесило то, что иногда его отчим крестился и кланялся той иконе в углу. Когда же приходили гости, всюю матерился с ними вместе, упоминая имя Бога. Пашка и заикнулся матери об этом.

— Богу молится, а матерится почем зря, — и повторил слова отчима для убедительности.

Ирина в страшном испуге зажала ему рот ладошкой:

— Не смей такое повторять, язык отсохнет!

— А че ж у него не отсыхает? — с вызовом брякнул сын. — Он-то на день по сто раз такое повторяет.

— Он — пусть. Его и накажет Бог. А ты — ты больше никогда не говори таких слов, сынок. Слышишь: никогда!

— Ладно, не буду. Только ты ему тоже скажи. А то смотри-ка, фон барон нашелся!

Глава 2

Отчим же стал еще и попивать, да оно бы и ничего — кто ж не пьет?! Но уж больно по частоте нарастающей. А когда Ирина попробовала упрекнуть его, запустил в пьяном виде в нее сапогом. Наутро вроде повiniлся, но в следующий раз уже одним броском сапога не ограничился и побил мамку. Досталось и Пашке, когда он на выручку маме кинулся и от нехватки силенок укусил отчима за руку. Тот, озверев от боли, так отлупцевал его ремнем, что на всю оставшуюся жизнь запомнил пацан. Запомнил и злобу затаил. А Петр уже без всякой дипломатии объявил матери, что вышвырнет обоих на улицу, если этот «заскребыш» хоть раз еще «посмеет вякнуть супротив отца».

После этого редко когда уже обходился его запой без драки. Пашка как завидит его пьяного, убежит из дому с молчаливого согласия матери и бродит по грязным неосвещенным улицам рабочего поселка, покуда не угомонится отчим. Тогда-то и прибился он к шантрапе, таким же, как и сам, малолеткам. Всеми делами у них управляли цыганята. О, много кое-чему от них научился Пашка. И во многом преуспел. Целыми днями слонялся он с ними по городку. Эта мелкота специализировалась на краже всего, что плохо лежит. От товаров на магазинных и базарных прилавках до вывешенного на веревках постиранного белья и всякого рода чугунков с заплотов. Главное, и самое удивительное, что всю эту дребедень они тут же сбывали барыгам. И хоть Пашка во всех меро-

приятнях принимал самое активное участие, но с вырученных денег ему перепало только на хлеб с луковицей. Да он и не претендовал на большее. Цыганят-то целая орава, если посчитать, так и им не больше перепало. Хотя понимал, что они его обманывают, но доступ к барыгам имел только самый старший цыганенок Мишка, или Мора, как его все звали. А он после очередной сделки всегда руками разводил, что, мол, ну, че тут поделаешь — вообще не хотел брать барыга товар. Хорошо хоть на это, мол, уговорил. Получалось, что если бы не Мора, они бы вообще все с голоду подошли. Но однажды Пашка забастовал: не захотел стянуть матрас с забора соседа. Их же, цыганят, соседа. Матрас, правда, хороший был: красный в синюю полоску. Но мужик тот не раз угощал их папиросами. Да и жена его была уж больно приветливая к цыганятам. Вот Пашка и засомневался, что, мол, как же так, соседи же ваши, вроде как свои люди.

Цвиркнул слюной сквозь щербинку в передних зубах Мора и, явно кому-то подражая, сказал наставительно: «Свой — не свой, на дороге не стой. Запомни это, Пашка. И дергай от нас, слюнтяй! Без тебя обойдемся».

Матрас они стащили сами.

А он даже обрадовался такому повороту дела. У него уже свои задумки были. Сколь с оравой ни броди, а часов в одиннадцать вечера даже они должны были являться домой. Пашка же продолжал слоняться, выжидая, когда заснет отчим. А бывало и за полночь только засыпал «Аника-воин». Подойдет Пашка к дому, прислушается: потом поскребется тихохонько, мать, не зажигая лампы,

и откроет дверь. Он тут же, уставший да голоднехонький, шмыг на койку в другой комнате и уже там, под одеялом, как мышь, жует, что ему мать сунет. Как-то набрел он на одном из пустырей за городом на какое-то давно начатое и тут же заброшенное строение: его издали так и не заметишь вовсе — все вокруг бурьяном поросло. Что там за будка должна была быть, неясно, но состояло строение из четырех равных отсеков и вместе с фундаментом поднималось на высоту чуть ниже Пашкиного роста. Расчистил Пашка сначала от бурьяна площадку внутри и из него же изготовил себе лежбище. Приволок и вкопал несколько стоек из обрезков жердей и из того же пучками связанного бурьяна воздвиг «стены», а вместо крыши натянул кусок брезента, который, спустившись пологом до земли, образовал еще и откидные двери «шатра». Брезент он вместе с арбузом стянул по случаю на базаре у зазевавшегося торговца-чучмека, пока тот расчеты с покупателем производил. Потом понатаскал отовсюду всякого тряпичного хлама, и получилось это его первое собственное жилье. Откинешь полог из брезента — и пожалуйте в Пашкины хоромы! Хоть и на четвереньках, но на самую настоящую постель. Никому не показывал Пашка свою потайную обитель, да в общем-то и некому было. Цыганятам он бы не показал ни за какие коврижки, а школа еще не началась. Да и когда началась, друзей там у него не было, так — на время уроков только. После школы ни с кем не задерживался и бесцельно блудил по городу, пока голод не давал себя знать. А он, как известно, не тетка. С приобретением же соб-

ственных апартаментов Пашка другой раз даже с последних уроков стал сбегать. И вот уже не каждую ночь стал он возвращаться домой. Заскочит поутру, когда отчим уже на работу уйдет, перекусит на ходу, книжки под мышку и в школу. А мать только смотрит виновато: ни ему плохого слова сказать, ни Петру перечить не может. После того, как Пашка признался ей, что все равно когда-нибудь убьет «этого жирного кота», она жила в постоянном страхе за них обоих. Как-то в темноте упер он со двора МТС какой-то громоздкий щит из жести и упрочил им хилую крышу из брезентухи от грядущих дождей. Ладная вышла крыша.

А утром, при уходе уже, взглянул: елки-палки! На той жести молния нарисована и надпись: «Не влезай — убьет!» Сильно понравилось Пашке такое обстоятельство. Вот ведь не думал-не гадал, а в потемках такую необходимую вещь приобрел. Теперь он стал оставлять на время своего отсутствия щит этот у входа в свое жилище. Он почему-то был уверен, что такая грозная надпись кого угодно остановит от грабежа. Именно, грабежа, потому что у него ведь с некоторой поры появились здесь и припасы. И об этих припасах стоит рассказать особо.

Тот сарай, в который отчим то и дело что-то привозил, а потом это же самое по частям уносил куда-то, давно уже не давал ему покоя. И если бы не амбарный замок, утолил бы Пашка свое любопытство намного раньше. К матери с расспросами он не приставал — бесполезное это дело. Но чутье подсказывало ему, что именно содер-

жимое тех коробок и имела она в виду, когда между ними произошла та первая подслушанная им ссора. И он терпеливо выжидал случая проникнуть в этот сарай. Как это часто бывает, случай не замедлил представиться совсем неожиданно.

Возвращаясь за полночь со своей очередной вынужденной прогулки, он вдруг обнаружил у ворот дома чужую, не отчима, телегу, а во дворе за забором различил приглушенные голоса. Пашка прильнул глазом к заплоту и сквозь щели увидел не совсем еще протрезвевшего Петра и еще какого-то мужика. Двери сарая были приоткрыты. Там царил полумрак, и только низ дальней стенки подсвечивался дрожащим таинственным полукружием. Незнакомец, энергично жестикулируя, что-то доказывал отчиму, а тот хоть и кивал подобострастно головой, но не соглашался. Пашка разобрал наиболее повторяемые слова: «габардин», «шевиот».

— Тогда давай быстро съездим, ткну тебя носом, — угрожающе повысил голос мужик и скомандовал: — Быстро, ну! Да амбар-то, амбар закрой!

— А, ниче, — махнул рукой отчим. — У меня тут покрепче надежда есть. Только вы за ворота выйдите, я щас Жука спущу.

Пашка даже не успел схорониться и только плотнее прилип к забору, настолько стремительно при упоминании Жука вылетел незнакомец за ворота. К счастью, в спешке ни он, ни отчим уже не осторожничали, не озирались по сторонам, а вскочили на телегу, и взмахом кнута незнакомец заторопил лошадь.

Мигом Пашка, приласкав по пути пса, очутился в сарае у дальней освещенной стенки. Свет исходил из открытого погреба от зажженной там керосинки. И еще исходил оттуда же ароматный манящий запах. У Пашки тотчас засосало под ложечкой. Он ловко спустился по лесенке и огляделся. Мать честная, коробок-то сколь! Осторожно отогнув края, он увидел аккуратно нарезанные и уложенные пласты соленого свиного сала. У Пашки бешено заколотилось сердце, перехватило дыхание и предательски задрожали руки. Он вдруг осознал, что идет на воровство уже *один*. И это оказалось далеко не одно и то же, что с друзьями. Все, что они вытворяли с цыганятами, больше походило на мелкие пакости. Оравой воровать не так боязно, да и друг перед другом храбрились. И уверенность сто процентов, что не поймают. Пашка и до них, конечно, лазал по чужим садам и огородам, но в этом тоже было больше озорства, чем преступления. Да и наказание в случае неудачи часто было чисто символическим. Ну, в самом крайнем случае, отдерут за уши — что с того?! Здесь уже этим вряд ли отчим ограничится. Если застучает. Но тут же и мысль сердцу любезная: «А кто сказал, что застучает? Быстро надо только все обтяпать. И так, чтобы не хватился он подольше». Переборцов страх и сдерживая прерывистое дыхание (первый признак трусости, как он потом с презрением установит), Пашка выхватил из кучи тут же лежащего тряпья мешок и как можно осторожнее стал снимать верхние куски из двух верхних коробок и складывать в него. Все! Даже незаметно. Попробовал под-

нять — не тяжело. Можно подбавить. Сунулся к коробке рядом и, разогнув края картона, в неверном освещении лампы рассмотрел большущие белые комки — чего? Соли? Лизнул один комок — и обомлел: сахар! Вожденный сахар! Целые комки, а им с матерью не давал и махонького кусочка! Пашка уже забыл, когда пил чай с сахаром. Еще одну коробку открыл — и там сахар. Он даже кинулся было выкладывать сало, чтобы заменить его сахаром, но наверху отчаянным лаем залился Жук, и Пашку обуял страх. Он бросил мешок и схватился за лестницу, чтобы успеть удрать, но ноги стали ватными и не слушались. Пес так же внезапно, как и начал, перестал лаять, и никаких больше звуков сверху не было слышно. Прислушался Пашка — никого. С большим трудом встал на ноги, бросил несколько комков прямо поверх сала, пригладил коробки и, кряхтя надсадно, выполз из погреба. И пережив последние минуты страха по пути до ворот, с мешком на загорбке растворился в темноте ночи. Уже добравшись до своего шатра, вполз вовнутрь, затащил мешок и в изнеможении растянулся на своем ложе.

От физического перенапряжения по всему телу шла противная дрожь, и в руках он чувствовал непривычную слабость. Немного успокоившись, почувствовал, наконец, голод, достал и отрезал пластик сала. Но той радости и того наслаждения, которые испытал при виде продуктов там, в погребе, он уже не чувствовал. Наоборот, в душе поселилось неведомое доселе чувство опустошения, и где-то в глубине ее какой-то маленький червячок

подсказывал ему, что повторил он в чем-то цыганенка Мору. Его голос так и стоял в ушах: «Свой — не свой, на дороге не стой!» А впрочем, какой отчим ему свой? Вон, даже сахара кусочка жилил. В страшной досаде на самого себя вцепился он зубами в отрезанный пластик сала, одновременно пытаюсь нагнать на себя злость на отчима за все унижения, перенесенные от него. Удалось. Да, правильно Пашка поступил, чего там! И отлегло от души, и мысли, одна приятнее другой, ко сну обволокли: «Че это я так перетрусил? Разве ж он дознается? Может, это даже хорошо я поступил! Если, может, узнают люди, так еще и похвалят. Он же все это у народа наворовал, мироед несчастный!»

Но еще больший страх заполонил его уже утром, когда он, проснувшись в своей обители, вспомнил на свежую голову, что натворил. Долго лежал он не шевелясь и боясь даже высунуться из своего укрытия. Если бы не мешок под головой и рядом с носом недоеденный ночью большой шмат сала, он бы подумал, что весь этот кошмар ему приснился. Сцены расправы отчима над ним одна страшнее другой нагромождались в его воображении. Вспомнив, как ему удалось успокоить себя ночью, он вновь принялся за сало и, медленно пережевывая, сочинял про себя оправдательную речь.

В результате мечтаний его отчим оказался арестантом, закованным в кандалы, а он, Пашка, получил медаль из рук вчерашнего собеседника отчима. Утолив таким образом голод и относительное расстройство души, Пашка приобрел сильнейшее расстройство же-

лудка, что, в свою очередь, спустило его с небес на землю. Просидев в бурьяне большую часть дня и имея достаточно времени для размышлений о бренности жизни, он вдруг догадался: для подкрепления даже ничтожной доли такой мечты ему обязательно надо появиться дома, чтобы отвести от себя все подозрения. Если таковые на его счет зародились в тупой башке отчима. И как только в расстройстве желудка наступила очередная пауза, он не преминул явиться домой. Вид у него при этом был самый невинный.

Но и в доме все было спокойно: на амбаре, как всегда, висел замок, Жук все с тем же весельем ластился к нему. И, как всегда виновато, мать отводила глаза от сына. Она с готовностью, как только он заикнулся о своем расстройстве, изготовила ему отвар из трав, и вскоре Пашка уже весело посвистывал во дворе, дурачась с Жуком. При этом он, вооружившись плоскогубцами отчима, тщательно изучал каждую досточку сарая. И не без успеха.

В сарай, аккурат где размещался погреб, теперь можно было незаметно пролезть такому худенькому человечку, как Пашка. Предварительно, конечно, раздвинув две досточки с тыльной стороны. Гвозди он аккуратно приладил на старое место — не подкопаешься. Но теперь их можно вынуть одними пальцами. Так же незаметно вернулся на полку в сенях плоскогубцы. В новую роль, роль одомашненного Робина Гуда, после недолгих колебаний, сомнений и страхов, входил Пашка напористо, прицельно и не теряя времени. Как сказал бы поэт, воспевавший революцию, — семимильными шагами...

Оттого-то и обрадовался он пугающему смертью щиту с грозной надписью. Впрочем, тех больших запасов у него уже не было. Но зато стали они разнообразней, и оставлял он в хижине продуктов только на два-три дня, не больше. После случившейся незадачи с салом, он испытал к нему такое отвращение, что за всю оставшуюся жизнь больше даже не притронулся к нему. Даже позднее, пребывая в лагерях. Но это же сало он, после той самой незадачи, довольно прибыльно, по его мнению, «сбагрил» Леве, продавцу разного, в том числе и этого продукта, на рынке. За полцены, но какие это были деньги для Пашки! А когда тот изъявил желание купить еще, Пашка быстро смикитил и цену поднял. Лева согласился. Но с условием, что Пашка будет носить только ему. Где малец берет сало, откуда, продавца не интересовало. Так Пашка заключил свой первый договор в жизни. Тогда же сошло на него и озарение: лозунг «Ученье — свет» — это для дураков. Жить и промышленять необходимо именно в темноте.

Поэтому, как только распродал все сало, он нанес следующий визит во тьме в сарай своего собственного отчима. И так же аккуратно спрятал концы. И на этот раз сошло: коробок было много, а он снимал только верхний ряд. Сало — на продажу, немного сахара — для себя. Теперь у него уже встала проблема с деньгами: куда прятать? Их было полные карманы. Схитрил и засунул приличную сумму дома в свою тяжелую, набитую ватой, подушку. Кое-что Пашка стал прикупать для себя и складывать в своей обители. У него появился интерес к

разного рода инструментам типа ломика, молотка-гвоздодера, ну и сопутствующим. И нет-нет да и стали случаться в городке мелкие кражи продуктов из сараев. Ну, мелкие, не мелкие, а урон людям такие визиты наносили. Главное — что? В милицию не пойдешь за-за такого вроде бы пустяка, а самому изловить воров нет никакой возможности. Не будешь же все ночи напролет у погреба сидеть: они сегодня здесь своруют, завтра — там. Да и поговаривать стали, что целая, мол, шайка орудует, очень даже может быть и вооруженная! Грешили, ясно, на кого: от этих цыганят житья и вправду не было. А на такого щуплого и тихого пацана, как Пашка, никто не мог даже и подумать. Так что деньги у него водились. А наличием оных, будь ты млад или стар, так и тянет перед кем-нибудь похвастать. Но перед кем? Не перед матерью же! И не перед Левой, у которого их в тыщу раз больше. Да и отличал уже Пашка вора от барыги. Потому и стал теперь отчима не только ненавидеть, но и презирать, так как тот был, по его мнению, самый настоящий барыга.

А сам Пашка, как уже было сказано, чуть ли не Робин Гуд, про которого читал он книжку. Похвастать наличкой можно только перед тем, кто точно таким же образом может ее заработать. Лишь тот может оценить твоё искусство по достоинству. Так что стал он искать таких людей. Ну, свинья грязь найдет — нашел ее и Пашка. Собственно, почти все общество в то время барахталось в этой субстанции: кто-то пытался из нее выбраться, кто-то ее искал, а кто-то и жил в ней припеваючи.

Воровали-то все подряд, только в разных объемах.

Глава 3

По достоинству оценил его двадцатипятилетний Роман — сын знаменитого в рабочем поселке цыгана Васьки-Чуни. Знаменит был Чуня тем, что раз-два в неделю, ночь-полночь, гонялся он с топором за своими домочадцами. Начиная с тещи и жены и кончая десятилетней дочкой Майкой. Тех, кто младше ее, он пока не трогал. Ютилось его многочисленное семейство — от пятнадцати до двадцати гавриков, в зависимости от времени года, — в допотопной землянке-избушке, возвышающейся над землей на метр, аккурат для того, чтобы выбитыми окнами взглянуть на окружающий мир.

Летом они так и зияли пустыми глазницами, а на зиму их затыкали подушками или всякого рода тряпьем. Самым же странным считался — и не без основания! — тот факт, что сам Чуня... работал! Да-да, цыган Васька работал слесарем-водопроводчиком. И всегда напоказ носил с собой большой разводной ключ. Только вот гоняться по ночам предпочитал почему-то с топором — инструментом, к его профессии не имеющим никакого отношения. Кроме него, в этом роду-племени не работал никто. Все его домочадцы с утра рассыпались по городу: подростки шныряли по значным местам, обирая пьяниц и воруя все, что плохо лежит; бабы с мелкотой и «группой поддержки» — на рынок, в поисках любителей заглянуть в свое будущее. И пока такой любитель, а чаще всего любительница, с разинутым от удивления ртом узнавал от Васькиной жены или тещи, или старших дочерей свои

года и свое имя, а потом еще и свое будущее, вся мелкота, трущаяся около нее, проверяла их карманы и обчищала все, что недовыманила провозвестница будущего. И попробуй потом вякни, что тебя ограбили, — так насмех поднимут, что и сам обхохочешься. А сильно упорствовать будешь, тут как тут появятся крепкие мужички, недвусмысленно поигрывая ножичками, — старшие сыновья Чуни. И поинтересуются, обнажив в улыбке зубы из желтого металла, чего тебе так не хватает в жизни. Тогда уж лучше унести ноги под добру-поздорову. Потому что обращаться в милицию — себе дороже! Все здесь цыганами схвачено. Вечером же всю выручку: деньги, изделия из драгметалла и прочую ценность, оказавшуюся обывателю лишней или ненужной, — отдавали родителю. И уж что там ему казалось: то ли мало, то ли не совсем то, что было необходимо на текущий момент, но после обильного возлияния, веселых песен и задорных плясок, после наступления потом некоторого затишья (по-видимому, баланс подводил Чуня) взрывалась вдруг ночка темная душераздирающим воплем супруги Васьки, который в свои пятьдесят с гаком так и оставался для всех Васькой-Чуней. Тут же не менее истошно начинала вопить ее мать.

Иногда эта последовательность менялась, но тещу гонял Васька очень редко, потому что бегала она не шибко резво, а сразу догнать человека... — ну-у, это же только всякого удовольствия лишиться. Не будешь же и вправду топором рубить пойманного человека, не для того бег затеян. Тут главное — процесс чтобы долгий был!

Негоже так-то сразу его и скомкать. Другое дело — жена Манька. Лето — не лето, зима — не зима, вылетала она из землянки в одной ночнушке и, ни на секунду не переставая вопить, неслась, как лань, по облюбованному ей в околотке маршруту. А сзади, не умея догнать ее и ругаясь на чем свет стоит, бежал в семейных трусах Чуня, потрясая топором. Интересно, что никто из остальных домочадцев даже ухом не вел — все они продолжали мирно почивать вповалку на земляном полу. Да и жители близлежащих улиц давно привыкли к этим «концертам» и не обращали на цыган ни малейшего внимания. Может быть, еще и потому, что по первости-то выскакивали мужики на крик о помощи, но, увидев Маньку в таком, извините, не совсем пристойном виде, застывали в оторопи. Она же мгновенно давала задний ход и начинала почем зря крыть очередных зевак:

— Че устаурились, бесплатного кина захотели? А ну, заворачивай оглобли!

Васька на это время благоразумно замедлялся, следя за реакцией спасателей. И когда пристыженные мужики «заворачивали оглобли», снова издавал воинственный клич и продолжал погоню за жертвой.

Один только раз, голимой зимой, и случился в этом неменяющемся уж который год ритуальном действе прокол. Солдатик один демобилизованный, Федор, не устыдился Манькиного вида и речам ее не внял, а, наоборот, тут же метнулся к Чуне. Васька же хоть и видел его, но не принял во внимание такого незначительного парнишку и не замедлил, как всегда, а продолжил погоню.

И только оказавшись без топора, понял свою ошибку. Еще больше осознал это, когда от страшного удара оказался на снегу и парнишка этот вздернул его за могучую шевелюру на ноги. И, не переставая охаживать тумачами, участливо спрашивал: «Ты чего, нехристь, за бабой гоняешься? Ну-ка, отвечай!»

— Крещеный я, крещеный, пусти, — взмолился цыган. — Сам ты нехристь, раз безвинного бьешь.

Солдатик аж рот раскрыл от удивления: экий, мол, безвинный нашелся! Тут и подросла Манька и коршуном вцепилась в своего спасателя, содрав своими ногтями ему в нескольких местах кожу на лице. Этим воспользовался Чуня и, забыв про цыганскую гордость, где бегом, где на карачках, покинул поле битвы.

— Ты что, дура старая? — взревел Федька и так шибанул пророчицу, что она, охая, на тех же четвереньках поползла вслед удалявшемуся супругу. — Он же тебя зарубил бы! Вот же ведьма.

Привстала, не переставая охать, Манька со снега:

— Заруби-ил. Дурак ты, сосунок. Мужик бьет, значит, любит, понял? — И пригрозила: — Еще раз только попробуй сунься! Без глаз останешься.

И этим окончательно сбила с толку демобилизованного.

«Мороз трескучий, а она без одежды, — недоумевал он, поясняя потом соседям свои действия. — Ну, думаю, рехнулась баба от страха. Этот хлюст-то за ней не просто так, а с топором. А она на меня же и коршуном. Тьфу ты, кабы знал, дак...»

Вот именно, кабы знал. В общем, больше никто не пытался вступать в дела цыганского рода-племени. Да и Чуня поугомонился гонять своих подданных. И возобновились «концерты» по какой-то случайности только в тот самый день, как покинул Федька эти края. Вернее, в ту же первую последовавшую за его отъездом ночь.

А тогда, наутро после битвы, сразу же пришел к нему Чуня с сыном Романом с мировой, и распили они поллитра, а то и больше, и пакт о ненападении заключили. Хитрый цыган и тут сообразил, что дружба с таким сильным и ловким смельчаком намного выгоднее ссоры. И в глазах соседей выиграл, что, мол, смотри-ка, Васька-то с понятием, раз повиноватился. Ну, пошумит когда, так все ж мы не ангелы. И Федьку цыгане проводили шумно, с размахом. Роман, так тот с ним прямо в обнимку ходил. Показуха, конечно, но тогда это много стоило. Не раз и не два прикрывались цыгане Федькиным именем. Его побаивалось даже отпетое хулиганье.

Глава 4

Так вот этот самый Роман и подошел однажды к Пашке на рынке. Подошел как к равному. За руку поздоровался: что, как, мол, живешь-можешь? Сильно польстило Пашке внимание такого парня, аж сердечко от радости екнуло: видел он цыгана в обществе Федьки. А тот был для него авторитетом непререкаемым.

И авторитет этот после его отъезда автоматически на цыгана перекинулся. Пашка аккурат неплохо «заработал» у Левы, потому не удержался и, напустив гонору, как будто невзначай, вывернул карман и ловко придержал готовые вывалиться деньги — несколько красненьких тридцаток.

— Фу, ты, — сказал небрежно. — Чуть не потерял.

— Фарт поймел? — доверительно и с уважением спросил цыган. — Молоток!

— Да какой там фарт, Роман, — как можно пренебрежительнее отмахнулся Пашка, заодно показывая, что знает его по имени. — Так, по мелочи.

— Для тебя я просто Рома или Ромка, — разрешил Роман. — А тебя как?

— Пашка, — с готовностью выпалил пацан. — Из рабочего поселка я.

— Да я это так. Наслышан я о тебе, Паша. Поэтому у меня к тебе и просьба. Поможешь?

— Конечно! Какая? — Пашка был на седьмом небе. Ему бы подумать, каким таким образом наслышан о нем цыган, если даже не знает его имени. Если его вообще, кроме Левы, никто не знает. А тому нет никакого резона распространяться на его счет. Но Пашке только недавно исполнилось тринадцать, и анализировать такие тонкости он еще не научился. К тому же просто обалдел от сознания своей значимости: сам Ромка у него помощи просит!

Роман взял его под руку и, озираясь по сторонам, отвел в сторонку.

— Пасут меня, Паша. Только это между нами. — Он настороженно зыркнул глазами и добавил приглушенно: — Посмотри, сзади меня не стоит фрайер в шляпе? Нет? Тогда слушай, Паш.

Проигрался я щас вчистую. Под конец, правда, втемную банк взял, но напарник мой до этого уже с деньгами смылся. Мне говорят: «Банк твой, кажи „ответ“». Да? А у меня ни копейки. Ну, ты сам знаешь, что бывает с тем, кто без «ответа» садится играть. Ты понял, да?

Пашка ничего не понял, но утвердительно кивнул головой. Ситуация обязывала. Если бы цыган попросил сейчас у него все деньги, он бы их отдал, не раздумывая. Он только боялся, что их не хватит.

Роман, похоже, уловил его мысли:

— Ты не подумай чего, Паш. Ты только помоги мне отыгаться.

Пашка округлил глаза. Он в жизни не играл в карты. В чем и признался стыдливо.

— Да ты не бойся, играть я буду сам. Ты только «ответ» покажешь. Проиграю, придется отдать деньги. Но неужели ты думаешь, что я позволю им обыграть себя? Ну, как, заметано? — И руку протянул Роман.

— Заметано! — радостно шлепнул ладошкой Пашка. — Пошли!

— Не боишься?

— Да ты че, Рома!

— Не зря я на тебя поставил. К другому хорошо что не обратился.

— Всегда ко мне, Рома, — разошелся Пашка. — Чем могу, тем помогу.

— Да я так и знал. Тебя же видно. Свойский ты парень, наш.

Так они пришли в какую-то затхлую, сумеречную хату, где дым висел коромыслом и воздух был до того спертым, что Пашку сразу же затошнило. На стульях, табуретках и просто на полу вокруг низенького колченогого стола сидело человек пятнадцать, лица которых он разглядеть не мог. Все они играли в карты. В центре стола лежали скомканные деньги. Роман поприветствовал играющих.

— Ну, вот, как и обещал, принес деньги. Будем отыгрываться с Пашей, — нарочито громко надавил на имя цыган и кивнул: — Паша, покажи «ответ».

Пашка вытащил зажатые в кулак деньги. Он немного оробел, но, взглянув на Романа, выпрямился и отчеканил: — Тута.

Прошла, как показалось Пашке, целая вечность. Время от времени Ромка просил у него какую-нибудь купюру или, наоборот, возвращал ему скомканную ассигнацию. Деньги приходили и уходили, их оставалось ровно столько, сколько и было, а вот Пашке становилось все хуже. Он уже давно перестал соображать, что происходит вокруг него. Наконец Роман заметил его состояние и встал.

— Ну, так, други. Мы с вами кругом — бегом. С меня, конечно, «чотор», но это уже в следующий раз, а щас я должен отвезти моего нового кореша домой. Пока!

— Ну, как ты? — озабоченно спросил он Пашку, когда они вышли из хаты и остановились под каким-то навесом у верстака с неубранной стружкой.

— Лихотит че-то, — Пашке и свет был не мил. Он притулился к верстаку. Хотелось только одного: побыстрее прилечь где-нибудь. Но нашел в себе силы поинтересоваться: — А ты как? Отыгрался?

— Ты че, Паш, сомневался? Ну, ты даешь! С моими-то руками! — Роман смахнул рукавом стружку, вытащил из кармана кучу смятых тридцаток, бросил их небрежно на верстак и даже вроде как отвернулся с безразличным видом. — Сколько здесь твоих? Бери сколько надо, не стесняйся.

Сам же испытующе подглядывал за Пашкой. Тот протянул руку и несмело взял одну, потом, получив ободряющий кивок Романа, другую тридцатку.

— Бери, бери. Ты меня выручил, половина выигрыша твоя.

Расчет был точным. Пашка во все глаза смотрел на кучу денег, «заработанных» в течение каких-то двух часов. Двух, не больше. И не надо выслеживать, где, в каком сарае что лежит, а потом выжидать удобный момент и подавлять противную дрожь от страха, что поймают и изобьют.

— Рома... это... Научи играть.

— Играть, Паша, тебя и дурак может научить. А надо научиться выигрывать. Это сложнее.

— Ну, да, я и хотел сказать. А я платить буду, сколько надо. Научи, а?

Роман сгрел остальные деньги, рассовал уже аккуратнее по карманам:

— Ладно. Ты парень что надо. Беру тебя в ученики. Только уговор: что прикажу — исполнять без всяких отговорок, идет?

— А то! — просяял Пашка, забыв даже про тошноту. — Заметано!

— Без всяких яких?

— Само собой.

— Божись!

— Ей-Богу.

— Ну, ты че, Паша, в пионеры, что ли вступаешь? — криво усмехнулся Роман. — По-нашему божись. Знаешь, как?

Пашка знал. Еще Мора заставлял его так клясться, но тогда он устоял. Чем-то паскудным, пакостным веяло от той клятвы... Тогда он устоял. Теперь отказаться было нельзя: Роман не Мора — сразу отошьет.

— Ну, — торопит цыган, — смелее!

Пашка тихо продавил слово.

— Не слышу, — весело ободрил его Роман. — Мы ж с тобой теперь, как братья. Мы с тобой заодно. Ну!

Язык словно прилип к небу и не поворачивался, но усилием воли подросток заставил себя громче повторить клятву и тут же почувствовал необъяснимую, огромной тяжестью навалившуюся на все его существо тоску. И будто какой камень сдавил сердце. В сознании отчего-то промелькнуло и тут же исчезло слово «раб».

— Ну, вот и лады. Завтра придешь сюда же к шести вечера. Подождешь меня во-он там, за углом. Без меня сюда не заходи. Прихвати с собой для начала пару красненьких, понял?

— Угу.

— Тогда до завтра.

— Ага. До завтра.

Глава 5

С приходом зимы потянулись серые, однообразные для Пашки дни.

Не с самых первых «уроков» понял Пашка, что влип с той клятвой по самые уши. Собственно «уроки» заключались в том, что он только сидел рядом с Романом и наблюдал за игрой «в очко» или «буру». Потом стал поддыгрывать на «вторую руку». Ни с выигрыша, ни тем более с проигрыша Пашка не имел ничего, но по две «красненькие» (тридцатки) нужно было приносить исправно. Запасы его быстро таяли; он распотрошил уже и подушку, а ничего путного шеф ему так и не преподал и самому играть не разрешал. На его робкую просьбу об этом Роман строго заметил, что он сам-де больше года вот так вот только и наблюдал. Потом, как бы сжалившись, разрешил Пашке попробовать «фарт» самому. И когда тот с волнением уселся за стол — великий момент в жизни! — Роман вдруг вспомнил о каком-то неотложном деле.

— Ну, ты смотри, играй с умом, я скоро вернусь, — шепнул он Пашке и вышел.

На всю жизнь запомнил Пашка свой картежный дебют. Изобретения тут никакого не было: весь сценарий был расписан по всем правилам шулерского искусства и практиковался еще с древних времен. И описан в многочисленных литературных произведениях. Да и знаком, как правило, каждой потенциальной жертве. Но почему-то каждый соискатель дешевого заработка думает, что с ним-то — именно с ним! — такого не произойдет. Знал о нем и Пашка. Но ведь он-то не какая-нибудь шушера, он-то был *среди своих*. Вона как его завсегда привечают! А как же: Пашка есть Романов кореш. Кто ж позволит себе против Ромки? Да и «в очко» играть он уже изрядно поднаторел.

В общем, как и положено, выигрывал Пашка поначалу. Сильно не бил, осторожничал, даже имея на руках туза. Потом пришла очередь банковать — и тоже везение: на «стуче» не дал «последней руке» сорвать банк и кассировал приличные деньги. Больше всего «подмазывал» проигравшим Кузя, второй после Романа в здешней картежной иерархии. Многие участники поздравляли везунчика Пашку, по-дружески похлопывали по плечу, пожимали руку, как равному среди равных. И отпустила его, наконец-то, непрекращающаяся все это время противная дрожь в коленях. Расслабился Пашка: вот она — жизнь! Что-то внутри подсказывало ему остановиться на этом. Но остановиться — значит уронить себя в глазах корешей. А они вон как к нему по-хорошему.

Можно даже немного проиграть. Но только для того, чтобы потом опять сорвать такой же куш. Что это удастся снова, он уже не сомневался. И не придавал значения первому проигрышу, даже сбравировал, что, мол, бывает и на старуху проруха. И второй встретил философски. И после третьего не обеспокоился, а, наоборот, в еще больший азарт вошел: вернуть во что бы то ни стало ту выигранную сумму и тогда уже на этом закончить. Тогда это будет уже не позорно. А тут аккурат объявляет Кузя на банке «стук» и проходит без проигрыша весь круг до «последней руки». А это и есть Пашка, у которого туз. На кону же такие деньжищи, что в глазах темно. И вернулась треклятая дрожь уже не только в колени — не может совладать Пашка и с руками. Хоть и не совсем заметно, но дрожат они, хоть не показывай их совсем.

Огромный ворох денег высится на столе. Посчитал Пашка свои: даже до половины банка далеко не хватает. А Кузя, он ведь тоже в волнении, хоть колоду и держит крепко, но на мгновение на долю сантиметра высунулась нижняя карта. И обмер Пашка: десятка идет! Цепкий глаз его уже умел различать крапления: у этой карты чуть заметный обмахрившийся уголок. То, что Кузя это для себя сделал, ему невдомек. Ворох денег завораживает. Идет десятка, и у него будет очко — весь банк его! Где взять деньги? И тут горячий шепоток прямо в ухо:

— Бьем на пару, Пашуня. Из моей половины четверть твоя. Только никого больше не бери мазать.

Даже не повернулся Пашка узнать доброхота — и как в омут головой.

— Последняя рука плачет, но бьет, — выпалил куражно. — Банк иду, Кузя. Дай карту.

— Ты хорошо подумал, Пашка? — тянет время Кузя.

— Лучше не придумашь, накрой мне.

— Ну, смотри, я предупреждал, — Кузя накрыл его туза картой.

Это была не та карта. У Пашки волосы встали дыбом. Он быстро повернулся за поддержкой к подмазавшему, но за спиной никого не было. Глазами, полными ужаса, он смотрел на Кузю. Тот тоже не спускал с него своих злобных, насмешливых глаз:

— Че, Паша, втемную что ли берешь? Играть или еще карточку?

— Ты... Ты смухлевал, Кузя. Не та карта шла.

— Чи-иво-о? — в наступившей полной тишине угрожающе произнес Кузя и положил колоду на стол. — Ты видел?

Пашка знал, что говорить «видел» нельзя: можно остаться без глаз. Ловить надо за руку, когда тебе сдают.

— Не видел. Но шла другая карта, — упрямо пробубнил он одеревеневшим голосом. — Шла десятка, а это король.

— Ах, ты, паскуда! — Рука Кузи сдавила горло Пашки, перед глазами которого поплыли радужные круги. — А ну, кажи «ответ». Под что играл? — И чуть ослабил захват. — Кажи «ответ»!

Все! Он пропал. Только чудо могло спасти его от расправы.

— Мне кто-то подмазал на пару. — Пашка затравленно озирался по сторонам. — Только что подмазал.

— Кто? — заорал Кузя. — Покажи!

Но Пашка уже не мог говорить: все его худенькое тельце било ознобом, и в ожидании расправы он только часто-часто тряс головой.

А Кузя уже вывернул его карманы и пересчитал деньги.

— С тебя еще две тыщи, — сунул он зажатые в кулак деньги Пашке в нос. — Где они? Если сейчас не найдешь, отдашь в тройном размере. Иначе, — Кузя щелкнул языком и провел рукой по горлу. — Понял?

Это была хоть и недолгая, но отсрочка. Кое-как дошло до сознания пацана, что сейчас его убивать не будут. Но ответить Пашка не успел. Он вдруг ощутил на голове чью-то большую ладонь и услышал приятный мужской голос с характерным акцентом. Это был высокий худощавый мужчина лет тридцати, в щегольском черном костюме и штиблетах того же цвета. Под расстегнутой рубашкой на груди на массивной цепочке покоился золотой крестик. В дверях же в полумраке остался стоять его напарник в косоворотке и брюках, заправленных в хромовые сапоги. Лица его невозможно было разглядеть. Никто не видел, когда они вошли в хату.

— Тихо, мальчики, я имею сказать вам пару слов. По моему, неправильно вы поступаете с юношей. Давайте разберемся. — Кто-то из друзей Кузи дернулся к нему, но он упреждающе поднял руку: — Советую вам не трепыхаться, иначе вы никогда больше не увидите вашей

любимой мамы. Впрочем, вы ее и так уже не увидите. Зачем она вам? Вот эта знакомая вам штука иногда имеет свойство стрелять. — Он спокойно положил на стол револьвер. — Я понятно говорю? Попрошу всех, кроме Кузи, отодвинуться от стола.

Не револьвер — этим отпугую шпану не запугать! — а что-то в его голосе заставило всех присутствующих повиноваться без пререкания. Тогда к столу подошел и второй. И некоторые картежники сразу узнали гостя и почтительно зашущукались.

— Федька, Федя вернулся, — передавали они по цепочке его имя.

— Вы правильно догадались, это Федя, — подтвердил первый, — но дело не в этом. Зачем Кузя хочет с пацана тройной куш? Разве игра уже сыграна? Так я хочу спросить, что думает общество по этому поводу?

А и правда: ведь Пашка еще не остановился. Он может взять еще одну карту. Общество (даже друзья Кузи) призналось, что этот важный момент совсем выпал из поля зрения, но это, мол, из-за бучи, поднятой самим пацаном.

— Шпент сел играть без «ответа», — злобно процедил Кузя. Он не собирался просто так сдаваться.

— Я оставляю этот вопрос на потом, Кузя. Потому что ты знаешь, кто подбил его на банк. Юноша не врет. Но я не об этом. Я ставлю за него. А теперь, вот ты, — показал гость на одного из картежников, — подойди и подрежь нижнюю карту. Так будет справедливо? — обратился он к игрокам.

Те одобрительно загудели.

— А теперь сдай еще одну пацану. Бери, юноша, не бойся. — Пашка не шелохнулся. — Вы видите, с ним плохо, и я хочу сказать, что это нехорошо. Ладно, пусть будет втемную. Теперь сдавай Кузе. Я прошу общество смотреть во все глаза. Так, «шиши». Что, Кузя берет еще? Резон... У нас ведь явно больше. И так, что там? Ваши не пляшут: Кузя «ушел». Посмотрим, что у нас. Ну вот, «девки». А Кузя говорит: в тройном размере, а Кузя?

Немыслимо, но вся операция прошла так непринужденно, что даже Кузя не выглядел сильно огорченным. А гость уже обращался к Пашке:

— Ну, что ж ты? Бери свой банк.

Пашка отрицательно помотал головой. Он онемел. И все еще не верил в свое избавление.

— Не хочешь? — утвердительно не удивился щеголь. — И правильно не хочешь. Деньги — дерьмо, когда они такие. Ну, тогда хотя бы отдай половину тому, с кем банк бил, — обвел он глазами картежников. — Кстати, а кто бы это был?

— Ну, я, — гнусавым голосом сообщил тот, который и сдавал карты. Это был Мамай, кореш Кузи. Похоже, картежники приходили в себя, и отвечал Мамай уже с неким вызовом.

— Знаю, что ты. Ну, что ж, благородно с твоей стороны. Если бы не признался, у меня с тобой был бы другой разговор.

— И что из этого следует?

— Пока ничего.

— Слушай, а ты вообще кто такой? Здесь тебе не тут, — перешел вдруг в наступление Мамай и повернулся за поддержкой к игрокам. — Че он себе позволяет, братва?

Перемена в поведении объяснилась очень просто: в хату тихонько проскользнул какой-то цыган с двумя дружками Ромки и за спиной Федьки подал знак Кузе с Мамаем. И Пашка понял, что отсрочки не будет и спасение его только в Федоре и вот в этом его друге. Дрожавшей ногой он ткнул его по сапогу, но тот даже не обратил внимания. Естественно, что и Федор не чувствовал опасности. Переключившись на гнусавого, Федька не заметил и то, как чуть нагнувшись над столом, Кузя ловким движением выхватил финку из-за голенища и, привскочив, замахнулся ею сбоку. Но движение это уловил Пашка и тут же какая-то неведомая пружина подкинула его. С криком: «Федя, сзади!» — он в одно мгновение вскочил с табуретки на стол и кинулся на Кузю, сбив его на пол. От неожиданности тот даже выронил финку и там, уже на полу, безуспешно пытался сбросить Пашку, который обеими руками вцепился ему в глотку. Что происходило за его спиной, Пашка не слышал и в отчаянном смешении ненависти и страха что было силенок сжимал пальцы на горле Кузи. Странная, никогда раньше не приходившая в голову мысль пронизала весь его разум. «Сдохнем — так вместе. У мертвого пальцы не разожмут». Отцепился только тогда, когда услышал голос Федора:

— Все ладом, Паша, отпусти его.

И сел, очумелым, невидящим взглядом отыскивая Федора.

— Ну, и кле-ещ, — потирая горло, медленно приподнялся Кузя. Увидел распластавшихся на полу Мамаю и еще тех двоих и заозирался затравленно. И понял: никто из оставшихся не собирался вставать на их сторону.

— Я возьму ножичка, Федя? — хрипло попросил он. — Я ж не фраер: сам приеду, зачем тебе?

Федя взглянул на своего напарника:

— Как, Клим?

— Бери, Кузя, — разрешил тот. — Одобряю.

Кузя поднял финку, провел пальцем по лезвию, потом легонько лезвием по горлу. Из надреза проступила кровь, он слизнул ее с финки языком и, откинув голову назад, решительно вскинул руку к горлу. Пашку стошнило.

— Добро, добро, Кузя, верю, — остановил его Федор. — Я не за тобой сюда ехал, сядь. А ты поди сюда, — подозвал он Пашку, и пока Клим что-то втолковывал лежавшему на полу цыгану, шепнул ему вполголоса: — Беги, парень, без оглядки и здесь больше не показывайся! Даже близко, понял? Не след тебе тут околачиваться. Когда понадобится, я тебя сам найду. — И поморщился, поняв, как ему показалось, причину Пашкиной медлительности. — Да будут у тебя деньги, будут. Ну, пошел, — легонько подтолкнул он подростка к выходу. И не сводя глаз с братвы: — Переборщили вы, ребятки, с воспитанием юноши, переборщили: жар у него. А щас будем разбираться!

Пошатываясь, словно пьяный, вышел Пашка из притона через пустую переднюю комнату и неожиданно оказался в ночи, в непроглядной темени. Он наугад прошел к верстаку и присел за ним на бревнышко, чтобы перевести дух. Это сколько же времени он играл! А ему казалось, что прошло не более часа. Впрочем, долго удивляться Пашке не пришлось: привыкшие к темноте глаза вдруг различили, как к хате бесшумно подкрадываются парни, и в свистящем шепоте одного из них он узнал Ромку. Под рукой оказался булыжник, и Паша, не раздумывая, запустил им в окно. Послышался звон разбитого стекла, следом ругань, топот ног, кто-то бешено шарахнул дверь с той стороны, и она слетела с петель. Ромкины друзья устремились вовнутрь, и тут же бабахнул выстрел. Взбрыкнув на месте, как антилопа, Паша стремглав, не разбирая дороги, бросился наутек. «Этo Фeдькy грoхнулi, Фeдькy! Вон их чe тут, цeлая код-лa», — сверлил и подгонял страх. И казалось ему, что гонятся за ним по пятам.

Глава 6

Никогда еще так быстро не бежал Пашка. И когда уже совсем выдохся, больно подвернул ногу и кувыркнулся с лету во что-то мягкое. Сообразив, что попал в стог сена, притих, боясь пошевелиться. Никто за ним не гнался. Глаза пообвыкли, и он стал различать окружаю-

щие предметы. Недалеко от копны у прясла стояла порожняя подвода, а дальше дом. Ворот как таковых не было, и Пашка признал это место. Оно на другом конце города. Он с этого прясла с цыганятами белье и чугулки однажды своровал. И вдруг испугался того своего деяния и впервые в своей коротенькой жизни стал противен самому себе. Мысли лихорадочно заметались в воспаленном мозгу. Все! Никогда в жизни он не будет воровать и не возьмет в руки карты. Пропади они пропадом. Как и вся эта воровская шайка. Ни за что, никогда и ни у кого больше не сворует он. Завораживающий блеск быстрых денег чуть не обернулся петлей на шее. Чудом не затянулась она на этот раз, но ее смертное дыхание Пашка почувствовал очень и очень явственно: «Все! Все! Никогда! Ни за что!»

Запах сена благотворно подействовал на него, и мысли потекли более спокойно. Даже отчим в сравнении с этой шпаной сейчас казался ему не очень-то злым и жестоким. Это сам Пашка доводит его до белого каления. А вместе с ним и маму. Волна раскаяния в собственной вине захлестнула и разжалобила его в отношении и самого себя. Ах, если бы отец был жив, все было бы по-другому. Отцово «сынок» — единственное, наверное, что он запомнил так накрепко и не забудет никогда. Оно жило в нем с теми неповторимыми интонациями, с какими его произносил отец. Этого слова ему всегда не хватало и будет не хватать всю жизнь. И разве при нем воровал бы Пашка? Он заплакал. Но теперь все будет по-другому. Он пойдет в школу, которую забросил совсем, и

выучится на... на кого? Фантазии в выборе профессии явно не хватало. На кого же, на кого? А, вот, на артиста. Он будет петь в красивом черном костюме и штроблетах. Но как ни пытался представить себя артистом, все выходило в воображении его сегодняшний спаситель. Недаром даже такой парень, как Федор, у него в подчинении. И не столько сам Клим маячил у него перед глазами, сколько та массивная золотая цепь с крестиком на груди. На такой крестик на иконе молится его мама и просит защиты у пресвятой Богородицы. Подражая маме, Пашка тут же перекатнулся на колени и зашептал горячно:

— Пресвятая Богородица, защити меня и помилуй! Защити от всех врагов моих!

Слова становились все более бессвязными. Пашка прополз на коленях несколько метров, приподнялся у подводы и, перевалившись через край, свалился на устланное сеном дно, судорожно сгребая его на себя; потом нащупал и прикрылся какой-то погодившейся тут рожей...

— Ты чей, мальчик? — Пашка с трудом открыл глаза и увидел над собой склонившееся лицо пожилой тетеньки. Их глаза встретились.

— Чей ты? — повторила она. Глаза ее были добрые, и она очень внимательно вглядывалась в него, легонько тормоша за рукав рубашки.

Пашка был сбит с толку. «Почему она не спрашивает, как я сюда попал?» На этот вопрос он бы моментально наврал с три короба. А тут — чей он?

— Ну, че молчишь? Ты ж весь околел здесь. Ну-ка,

пойдем в хату. — Она сбросила рогожку и властно приподняла его за голову.

Еще не лучше. В хату. А потом в милицию сдаст. Тикать бы надо. Но ни убежать, ни сопротивляться сил у Пашки не оказалось. Так же, как и ночью, его бил озноб. Только мысли были яснее. Он хотел встать и не смог. А она почувствовала, как он дрожит всем телом.

— Батюшки-светы, — всплеснула тетенька руками, — да у тебя ж лихоманка. Ну-ка, держись за меня. За шею, за шею держись. — И она (стыдно для Пашки) сгребла его в беремья сильными руками и торопливо занесла в хату. Там, не переставая охать, уложила на деревянный, застланный соломенным матрацем топчан у стены и накрыла ватным одеялом.

— Щас я, щас. Молока тебе вскипячу, — суетилась она, накачивая примус. — Ах ты, Господи, что ж за притча така: да как-то ишо не загинул за ночь, горит-ить весь. Ах ты, Господи, че ж я раньше-то не вышла? — И вроде как оправдывалась перед Пашкой, а может, и перед самой собой: — Дак ведь когда знала бы! Ты ж где-то, наверно, уж за полночь прибился, как мне знать? Беда-то какая, Господи.

Сначала Пашка слышал и различал ее причитания, потом они слились у него в одно слово настойчивым, но умиротворяющим рефреном, звучащим в ушах: «Господи, Господи...» И как во сне, в каком-то отстраненном от мира состоянии, наблюдал он за тем, как сам же пьет горячее молоко с вкусной-превкусной лепешкой, и живительное тепло разливается по всему его телу.

«Господи, Господи...» Заботливые руки укладывают его голову повыше на подушке и подтыкают плотнее одеяло. И Пашка в порыве нахлынувшей благодарности прижимается губами к этой руке и слышит, и видит, как тетенька говорит тому Пашке, которого он видит со стороны:

— Полежи, сынок, я за фершалом сбегаю. За Фросей. Я быстро вернусь. Ты поспи.

Сынок! Волшебное для Пашки слово. Небесной музыкой звучит оно и тут же находит отклик в юной, еще не успевшей совсем загрубить душе: «Тетенька, — криком хочет спасти ее Пашка, — не оставляй его одного тут. Вор он, воришка несусветный. Он чугульки-то твои украл, он!»

Но тетеньки уже нету. Жгучий стыд полыхает и расплзается нестерпимым жаром по всему Пашкиному телу, и хочется спрятаться от самого себя. Он с головой забирается под одеяло, и его собственное дыхание обжигает ему лицо. Наверное, умрет он. А как хочется сделать что-нибудь доброе для нее. Вот бы вернуть ей не то что прежние, а совсем новые чугульки. Неужели не успеет? Так хоть бы рассказать, что виноватый он, но вот ведь, мол, хотел, а не успел исправиться. И он опять заплакал. Второй раз подряд за все последние годы. Горько. Безутешно.

И забылся, и заметался в жару. Он не знал, сколько времени прошло, когда очнулся от ощущения невыносимого зуда. Около него сидели и негромко говорили две незнакомые женщины в белых халатах.

— Нервное потрясение... инфекция... Нужно в больницу, — слышит Пашка отрывки беседы и возвращается в покинутый было мир.

— Вон он пришел в себя, — радуется его тетенька. — Ты скажи врачу, как тебя зовут.

— Пашка, — шевелит губами он еле слышно. — Балан Пашка. Тетенька, тетя...

— Тетя Даша, — подсказывает она. — Живешь-то где? Родители где?

— Тетя Даша, я умру?

— Ну, что ты. Сейчас тебя в больницу отвезут, таблеток дадут и вылечат. Жар-то какой, — не отнимает она руки с Пашкиного лба. И врачу: — Сирота, видать.

— Мамка у меня есть, — противится он, пытается подняться, но голова бессильно падает на подушку.

Его, завернутого в одеяло, относят в машину скорой помощи, и до больницы в крытом кузове рядом с ним сидит тетя Даша.

Пашка за всю дорогу не отпустил ее руки. Не раз прорывался он сказать ей что-то, но она предупреждающе прижимала палец к губам, дескать, молчать тебе велено. Наконец машина остановилась. Сейчас его унесут, и она уйдет из его жизни и не узнает, что он хотел ей помочь.

— Тетя Даша, — выдавил из себя Пашка. — Прости меня. Это я тогда чугунки твои спер. Прости меня.

— Я знаю, Паша, все знаю. И простила. Потому что тебя Бог простил.

Как ни слаб был Пашка, а все же напрягся и застыл в изумлении.

— Ты сам все уже нам рассказал, — пояснила она. — Бредил ты. А теперь тебя Бог и простил, раз ты покаялся. Ты всегда перед Богом кайся, Паша, когда тебе плохо будет, понял? Только не воруй больше.

— Я заработаю и куплю тебе все новое, тетя Даш. Вот увидишь.

— Хорошо, хорошо.

— Меня заберут в милицию?

— Никто тебя никуда не заберет. Подлечат и домой пойдешь. Я к тебе ходить буду, если пустят. А маму-то где твою найти?

Пашка сказал. Помедлил и добавил:

— Только при отчине про меня ничего не говори, тетя Даша, ладно?

— Хорошо, хорошо. При отчине не буду...

Глава 7

Случай у Пашки был «из ряда вон». Так каждый раз повторял добрый старенький доктор в очках, обращаясь к сопровождавшим его сестрам. Что это был за ряд и почему из него непременно нужно было выходить вон, Пашка не понимал, но что дела его плохи, догадывался по сумрачному лицу доктора. Пашка вел себя смиренно: послушно пил какую-то горькую гадость и безропотно подставлял под уколы требуемые части тела. А после двухнедельного лечения его и вообще перевели в отдель-

ную палату, потому что обсыпала Пашку с головы до пяток какая-то зараза. Это удивительным образом почему-то обрадовало доктора, и он впервые ободрил Пашку: «Ну вот, герой, теперь мы тебя вылечим. Держись!»

Пашка держался всю зиму; чуть ли не четыре месяца боролись врачи за его жизнь, хотя он, конечно, этого не знал. В этой узкой, крохотной палате с высоким потолком и невысокими фанерными перегородками, где нельзя было даже выйти в коридор без сопровождения сестры, пережил он и корь, и скарлатину, и свинку. Казалось, все детские болезни, не случившиеся с ним в раннем детстве, решили по очереди отметиться у него и наверстать упущенное. Пашка очень ослаб и большую часть времени не вставал с постели. О, какое несметное количество всяческих лекарств он выпил и сколько уколов принял — несть числа. Надо сказать, что переносил он все это стойчески, молчаливо и без единой жалобы, чем расположил к себе всех нянечек и сестричек. А поскольку никто не приходил навестить его, то еще и жалели его все, и он это чувствовал.

Однажды ему принесли передачу — печеные ватрушки от тети Даши и записку, в которой говорилось, что его мама тоже сильно хворает и вряд ли сможет прийти к нему. Сама же тетя Даша будет по силе возможности навещать его. Ну, навещать — не навещать, поскольку вход к таким больным был запрещен, а уж передачу-то она ему еще принесет. В общем-то большом отделении, больных было всего двое: Пашка и одна девочка за перегородкой, справа от него. Ее поместили туда намного

позже Пашки. Девочке почти каждый день нянечки приносили передачи, и она постоянно шелестела обертками от конфет, печенья, что-то там жевала и хрустела фруктами. Когда это были яблоки (яблоки зимой — предел мечтаний не только Пашки), их ароматный запах едва не лишал его сознания. Он и так-то тихо лежал в своей кровати, а уж когда она принималась там, за фанерной стенкой, за доставленные ей деликатесы, он и вовсе замирал, и пытался представить себе все эти яблоки, конфеты, пряники. И когда это ему удавалось, засыпал с блаженной улыбкой на лице. Еще чаще засыпал он под ее негромкое пение. На разные лады тихонько напевала она какие-то красивые колыбельные песни, слов которых он никогда до этого не слышал. И ангельский голосок ее звучал так, словно журчащий горный ручеек скатывался по гальке чистой родниковой водицей. Пашку так и подмывало заговорить с ней, но он никогда еще, ни разу за всю свою жизнь, не разговаривал с девочками, тем более незнакомыми. И пересилить себя не мог.

Но однажды он не выдержал: с большими предосторожностями вскарабкался на спинку кровати и с замиранием сердца заглянул за перегородку. Там на кровати поверх одеяла в обнимку с большой куклой лежала девочка в такой же, как и у него, длинной белой рубашке. Она была явно младше его, и, вероятно, баюкая куклу, заснула сама. Рядом лежала раскрытая книжка с картинками. Цепкий его взгляд успел ухватить и наличие фруктов на ее столике. И тут, наверняка почувствовав на себе его взгляд, девочка вскинула глаза и от неожиданности

вскрикнула. Пашка же, поторопившись retirоваться, неудачно соскользнул с гладкой спинки кровати и шумно шмякнулся на постель. Если бы на ее вскрик и последующий шум прибежал хоть кто-нибудь, Пашка бы помер от стыда. Но на его счастье никого не было и сама девочка почему-то больше не кричала. Он мучительно подыскивал какое-нибудь слово, чтобы оправдаться перед ней и никак не находил нужного.

— Девочка, слышь, я это нечаянно, — ляпнул он наконец противным голосом и тут же понял, какую глупость сорозил. Но она, похоже, поверила ему.

— Ты нечаянно? — в голосе ее слышалась неприкрытая радость. — А я нечаянно закричала. Хорошо, что ты так высоко можешь забраться, а то я все думаю, кто там за стенкой такой неслышный. Как будто никто не живет там. А скажи, ты большой, да? А как ты забрался на стенку? А сколько тебе лет? Было ясно, что она тяготилась одиночеством и теперь словно спешила разрядиться от долгого вынужденного молчания и вовсе не сердилась на него.

— Четырнадцать, — успел ответить Пашка только на последний вопрос. У него отлегло от сердца. — Скоро пятнадцать. А че?

— А мне только девять, я не смогу к тебе заглядывать. Не достану.

— Не достанешь, — согласился Пашка. — Тебе подрасти надо.

И разговор состоялся. Вернее, монолог. Потому что она болтала без умолку, и вскоре Пашка уже много кое-

чего знал о ней. Ее звали Олеся, и училась она в музыкальной школе. Все, о чем она рассказывала, было ему в диковинку: в свои девять лет девочка уже побывала за границей и даже жила там некоторое время, так как папа ее там работал в посольстве.

Впервые в Пашке шевельнулось чувство зависти такого рода: за граница! Это было что-то такое очень и очень далекое. В этом слове для него всегда было что-то призывно манящее в неведомые дали, где обязательно было море с кораблями под парусами, и вот теперь он разговаривал с живым человеком, который в этой за границе побывал. Если бы об этом ему рассказывал мальчишка, он бы ни за что не поверил, но девчонка — это совсем другое дело.

Тем более, что она, описывая своих тамошних знакомых, сказала несколько слов не по-русски. Тут уж Пашка не утерпел и прытче прежнего вскарабкался на спинку кровати.

— Ты умеешь по-ихнему! — восхищенно воззрился он на Олесю. Теперь он разглядел, что она была худенькой девочкой с белокурыми вьющимися волосами и огромными синими-пресиними глазами. И ее не портила такая же самая сыпь на лице, что и у него. Казалось, что это веснушки веером разбежались по ее хорошенькому личику.

— Ой, как ты быстро! — восхитилась и она. В руках у нее была все та же кукла, которой она расчесывала волосы, и они обе смотрели на Пашку снизу вверх. — Ты, наверное, очень ловкий и сильный, да?

Пашке это страшно польстило, и он не удержался, чтобы не похвалиться.

— Ерунда, — сказал он важно. — Ты бы видела, как я по деревьям лазаю.

— Быстро-быстро? А меня научишь?

— Тебе твоя мама не разрешит, — рассудительно сказал он. — Девчонкам нельзя лазить по деревьям.

— Не разрешит, — вздохнув, согласилась Олеся и опечалилась: — Они мне ничего не разрешают. Только чтобы я музыкой занималась. Ты любишь музыку?

Пашка не успел ответить. Дверь в его палату отворилась и появилась дежурная сестра. Увлечшись разговором они не услышали ее негромких шагов по коридору.

— Эт-то что такое?! — остановилась она с округлившимися глазами. — Ты что это удумал, фулюган?

На этот раз падение было менее удачным. Пашка подвернул ногу и, сморщившись от боли, сел на кровать, не поднимая глаз на медсестру. В больнице так называли его в первый раз, и он понял, что все это время они просто скрывали, что знают о нем больше, чем он это предполагал. То, что сам он постарался уже забыть.

А медсестру прямо-таки раздирало.

— Что, опять за свое? — не обращая внимания на его боль, громко строжилась она. — Расскажу врачу, он тебя завтра же выпишет. Пойдешь опять... — Она спохватилась, увидев как вдруг совершенно явственно переменялся подросток. Тихий, смиренный Пашка в момент оцетинился и зло и жестко процедил сквозь зубы:

— Ну и выпишывайте. — И лег, и накрылся с головой.

— Тетя Валя, тетя Валя, — верещала из-за стенки Олеся, — зайдите ко мне, я вам все расскажу. Паша не виноват, что мы с ним разговаривали.

Тетя Валя мигом вылетела за двери, и Пашка краем уха слышал, как она долго о чем-то бубнила с Олесей. Потом снова появилась у него.

— Ну, что ж ты мне сразу не сказал, что Олеся тебя попросила, — миролюбиво начала она. — А то я ведь черт знает что подумала. Но все равно это не разрешается. Вы можете еще больше заразить друг друга, понимаешь? Хотите говорить — говорите через стенку. Все ведь и так слышно. Ну, давай, поворачивайся, будем укол делать...

Затаил Пашка обиду на медсестру, затаил. А рикошетом виноватой для него оказалась и Олеся. Долго потом отмалчивался он на все ее попытки заговорить с ним. И девочка, видя бесполезность своих уговоров, применила запрещенный прием.

— А-а, — с печальным вздохом сказала она, — я догадалась теперь. Ты боишься от меня заболеть сильнее, да?

— Кто, я? — возмутился Пашкин разум, и в мгновение ока он завис головой над перегородкой. — На, смотри, боюсь? Только бы эта Валя не увидела. Сразу выпрут меня.

— Не выпрут, — счастливо засмеялась Олеся. — Мы с ней договорились. Только ты не говори никому.

— Че я, дурак? — спросил Пашка и тоже залился смехом. И на душе его снова стало легко и радостно.

И так они смеялись оба: ни о чем и ни чему, а просто потому, что им было весело. Только теперь он держал ухо востро, готовый в любой момент десантироваться на кровать. Потом пало ему на ум сомнение.

— Как же ты договорилась, если она мне сказала, что не разрешается. — И тут он заметил отсутствие каких-либо продуктов на тумбочке. И догадался неожиданно: — Ты ей яблоки отдала?

— Тсс, — испуганно прижала пальчик к губам Олеся и часто-часто замахала им перед глазами. Потом, немного успокоившись, сказала заговорщически: — Никому не говори, а то нам хуже будет. Это я просто угостила ее.

— Эх, хоть бы мне одно лучше дала, — непроизвольно вырвалось у Пашки. Да в общем-то, теперь, когда яблок уже нет, не было и зазорным об этом упомянуть. — А то я уж забыл, как их едят.

— А разве тебе не приносят? — искренне удивилась девочка.

Пашка сконфузился, неопределенно помотал головой и осторожно слез на кровать. Немного погодя ему стало неловко за свою откровенность, и он решил скрасить горькую пилюлю. Больше для себя, конечно, чем для Олеси.

— Мне только тетя Даша лепешек приносит иногда, — сказал он, глядя в потолок. — Вку-усные. А яблок мне, наверное, нельзя. Может быть, это мне даже вредно. — И вдруг оживился: — А ты дашь мне твою книжку почитать?

— Да хоть все, — с готовностью откликнулась Олеся. — Какие дать?

— А все, чтобы десять раз не лазить, — сказал Пашка. — Прямо сейчас.

И снова забрался на верхотуру. Теперь уже за книжками. Для того, чтобы их передать, пришлось напрячь все свои силеньки и Олесе: она с трудом передвинула свою тумбочку к стенке, взобралась на нее и, встав на цыпочки, протянула ему книжки. А дня через два точно таким же образом к Пашке, несмотря на его энергичные протесты, перекочевали яблоко, конфеты, пара печенюшек и пряники. А потом это стало нормой. Между детьми установились доверительные отношения: они профессионально интересовались температурой друг друга, какие кому сделали уколы, и огорчались или радовались в зависимости от состояния здоровья другого; давали советы.

И только одно страшно угнетало Пашку, что он ничем не может отплатить ей за ее доброе сердечко. Тетя Даша уже давно не приносила ему своих ватрушек, но именно теперь он с нетерпением ждал их от нее. Вот вроде кто он ей? Никто. И понимал Пашка, что он ей пока ничего, кроме пакости, не сделал, а почему-то упрямо верил, что она их принесет. Он даже просил об этом пресвятую Богородицу. Это не была молитва, но это была наивная детская вера в чудо, которое кто-то может сотворить для него.

И оно совершилось: наконец-то и ему принесли передачку — шанежки тети Даши. Теперь вдруг возникло другое сомнение: а понравятся ли эти простые лепешки

Олесе, избалованной всяческими деликатесами? Все же Пашка решился угостить ее. Но только под вечер, чтобы в случае чего быстро притвориться спящим. Потому что вдруг ей не понравится и она скажет: «Фи, какая гадость», — как она всегда реагировала на таблетки.

Зря он так беспокоился: попробовав лепешку, она с таким чувством сказала: «М-м-м», что все его сомнения развеялись. Пашка лежал на кровати и в состоянии блаженства слушал, как нахваливает Олеся его гостинец, и слезы радости душили его. Ничто и никогда еще не доставляло ему такого наслаждения, как сейчас, когда он смог угодить этой маленькой девочке. Даже тот сахарный петушок из детства не мог сравниться с этой всеобъемлющей радостью.

Это их общение не замедлило сказаться и на здоровье детей. И зафиксировал однажды старенький доктор с удовлетворением, что сдвинулся Пашка с мертвой точки. Он так и сказал:

— Ну, герой, кажется, сдвинулись мы с мертвой точки. Еще немного — и будешь ты у нас совсем здоров. А то уж, небось, по школе соскучился, а? Ну-ну, наверстаешь еще, какие твои годы.

Следом услышал Пашка, как приблизительно то же говорил доктор и Олеся. И, сам того не зная, завершил доктор свой обход словами, близкими к истинному положению вещей:

— Да вы у меня оба тут молодцы; будто соревнуетесь друг перед другом. Словно помогаете друг другу выздоравливать. Так держать!

А может, и знал доктор, да виду не подал. И про школу Пашке неспроста напомнил. Видел доктор, как увлекли подростка Олесины детские книжки, и стал приносить ему приключенческую литературу. И с удовольствием констатировал, что не промахнулся: Пашка за все школьные годы не прочитал столько, сколько тут в палате за зиму. Все шло как нельзя лучше, и оба пациента уже готовились к скорой выписке. Причем Пашка хотел выйти из больницы непременно раньше Олеси. Для того, чтобы успеть хоть немного походить к ней со своими собственными передачами. Он даже знал, что будет писать ей в записках. Но получилось совсем не так.

Как-то в полдень прогремели к Олесе вместе с тетей Валеёй какие-то люди и быстро-быстро собрали ее на выписку. Это не были ее родственники, потому что радости в голосе Олеси Пашка не слышал. Забраться на кровать и заглянуть он, конечно, не мог и лишь надеялся, что ей разрешат зайти проститься с ним. Но услышал, как ей не разрешили.

— Паша, тогда до свидания, я к тебе потом обязательно приду, — громко крикнула Олеся и кого-то спросила: — Я ведь смогу к нему прийти?

— Сможешь, сможешь, — сказал незнакомый Пашке женский голос. Почти тут же дверь к нему распахнулась, и высокая, строгая и надменная женщина изучающим взглядом смерила его с головы до ног, и неопределенно хмыкнула:

— Хм, ухаже-ер! — Ее тонкие брови взметнулись вверх, и она легонько хлопнула дверью.

— Паша, я обязательно приду. Ты только жди меня. Я с мамой потом приду, — еще раз крикнула Олеся, и захлопнулись теперь уже те дальние двери, оставляя Пашку одного в этом огромном пространстве, называемом инфекционным отделением.

И сразу почувствовал Пашка гнетущую тишину. А следом, усугубленная тем уничижительным взглядом — ухаже-ер! — навалилась тоска всей тяжестью одиночества. И в сердце тоскливая мысль, что не увидит больше Олеся. Заскочил он на кровать, заглянул за перегородку — пусто. Заметался Пашка по палате своей крошечной: ах, да хоть бы кто-нибудь сейчас погодился рядом! Да сколько ж ему-то еще тут прозябать? А еще думал вперед ее выйти, а оно — вон оно как. «Завтра же буду проситься домой. Доктор добрый — отпустит. Че им меня здесь держать, раз я здоровый. Олеся вон не так уж и выздоровела, а ее выписали. А я че, лысый, что ли?» — утешал себя Пашка, свернувшись калачиком на кровати.

Но не выписали ни на следующий день, ни через неделю. И Олеся не приходила. А когда хитростью спросил доктора, что, мол, не ходит ли она к нему на осмотр, посмотрел на него доктор с какой-то странной грустью.

— Нет, милый мой герой, — вздохнул он, — не придет она. Уехала вместе с родителями куда-то очень далеко.

И больше ни слова не сказал.

Зато тетя Валя вечером прояснила ему ситуацию:

— Больше доктора о ней не спрашивай, ясно? Не с родителями она уехала, а увезли ее с матерью. Отца-

то еще раньше арестовали: враг он народа, понял? И сам о ней забудь, выздоравливай вон.

— Куда увезли? — сник Пашка, до которого еще не дошел весь страшный смысл сказанного.

— Куда, куда? На кудыкину гору. Ты что, маленький? Совсем не понимаешь, где врагам место?

Ничего не понял Пашка, да и отказывался понимать. Одно знал твердо: никаким врагом ни Олеся, ни ее папа не могли быть. Врага Пашка знал хорошо: в коридоре, на стене напротив его дверей, висел плакат, на котором сидел толстый-претолстый американец в котелке, с сигарой в зубах и полосатых кальсонах. Надпись гласила, что вот это и есть враг. «Антанта» какой-то. Так причем тут может быть Олеся?!

В таких смятенных чувствах его и выписали. С устойчивым отвращением к таблеткам и животным страхом от одного лишь вида шприца. (Что потом сыграло немаловажную роль в его жизни. Именно этот патологический страх удержал впоследствии Пашку от неминуемой участи наркомана). В приемном покое его дождалась тетя Даша, и на его немой вопрос объяснила, что мама, мол, пока не может за ним прийти, потому что сама все еще лежит в больнице и не хочет, чтобы сын оставался в доме с отчимом. Ну и попросила принять пока его к себе. Так что придется Пашке временно пожить у нее.

— Ну как, Паша, согласен? — настороженно спросила она.

Это известие и огорчило, и обрадовало его: сильно скучал он по маме только последнее время, то есть после

того, как из больницы увели Олесю. Но идти домой и жить там с отчимом — таким желанием он, конечно, не горел. Если и было у него в ту минуту какое-то желание, так это хоть чем-то отблагодарить тетю Дашу за ее доброту. Хотя что он, слабый и немощный от болезни, мог сделать для нее? Скорее, он будет для нее обузой. А уж что такое быть обузой, Пашка усвоил достаточно давно. С тех самых пор, как отчим начал упрекать маму за то, что он «должен горбатиться и кормить не только ее, но еще и этого ее оглоуда, не-пришей-кобыле-хвост».

— Ты не сомневайся, Паша, — мягко сказала тетя Даша, угадав направление мыслей подростка. — У меня пока все есть, чтобы подкрепить твое здоровье. Ну, а как поправишься совсем, поможешь мне по хозяйству. Вот так и выручим друг друга. Выручим?

— Да, конечно, — обрадовался он такому простому решению, и будто камень с души свалился: — Знаешь, как сильно я тебе хочу помочь, тетя Даш. Прямо щас бы...

— Верю, Паша, верю. Но сначала ты должен крепко на ноги встать. А то вон, вишь, качает тебя от ветру. Ну, пойдем потихоньку, а дома и поговорим.

Его и вправду качало: через каждые сто метров останавливался Пашка, чтобы присесть и дать отдых подгибающимся ногам, так что больших трудов это ему стоило — добраться до ее дома. А как добрались, тут и повалился он на тот самый топчан в изнеможении. И ноги мозжило, и круги перед глазами разноцветные плыли. В таком состоянии до расспросов ли? Да и тетя Даша не торопилась ему рассказать побольше о матери. Ну,

болеет человек, да и болеет, мало ли. Главное, мол, не опасно это у нее. Но в разговоре она то и дело вздыхала, глядя на него с какой-то жалостью, и все время вспоминала Бога. «Господи, Господи», — то и дело слышалось Пашке. При этом сколько он ни осматривался, так и не увидел нигде ни одной иконки, как у матери. Ни на стене, ни в углу. Ну, стало быть, присказка у нее такая к слову. Единственное, что он обнаружил на следующий день в горнице тети Даши — это фотография на стене в рамке, на которой, приклонившись друг к другу, стояли молодцеватый парень в военной форме и девушка в свадебном наряде. Но к образу пресвятой девы они не имели никакого отношения.

А однажды вечером к ней пришли какие-то люди. Пришли с оглядкой, словно боялись кого. Были среди них и женщины с детьми. Но пока они там беседовали, попросила тетя Даша его побыть на улице, и если увидит кого-то у дома, чтобы сразу же оповестил ее. Через какое-то время донеслось до Пашки их едва слышное задушевное пение, и ему стоило больших трудов не полюбопытствовать и не заглянуть к ним. Разошлись они очень скоро и также с опаской. Они так красиво пели! Почему же тогда прячутся? Он терялся в догадках. Поэтому, увидев ее в другой раз вечером стоящей на коленях и шепчущей молитву, не удержался Пашка:

— Теть Даша, а где же твоя Богородица? А то ты молишься, а ее нету.

Села она за краешек стола, посмотрела на него внимательно:

— Я не ей молюсь, Паша, а Христу — Спасителю нашему.

— А кто Он такой?

— Он — Сын Божий, Паша. Ему и надо молиться, и просить обо всем, что на душе твоей.

— Так Он че, главное пресвятой девы?

— Главнее, Паша. Мария была человеком, а Христос — Бог!

— Так, а где же Он? — взгляд его непроизвольно устремился на фотографию на стене.

— Христос не может быть на картинке, — перехватила она его взгляд. — Он — Бог и находится на небесах. Но однажды Он может войти в твое сердце, если ты покаешься в грехах своих и примешь Его. Не понимаешь?

— Не-а, — честно признался Пашка. — Каяться надо перед попом и Богородицей. И свечку обязательно надо поставить. Мама говорит, раньше всегда так делала. А как это: принять в сердце Бога?

— Ну, как тебе объяснить? Скажу так: поп ведь не может прощать грехи, сколько ты перед ним ни кайся. Он ведь такой же человек, как и ты.

— Ну, да-а, такой же! У него вон какая бородишшато, и крест дает целовать...

— Все так, Паша. Но бороду и ты можешь такую отрастить, когда сам вырастешь; и крест, и рясу можешь купить в любой лавке. И на попа выучиться можно. Но грехи прощает только Бог. Запомни это. Я знаю, придет твое время, Он простит тебя и станешь тогда самым счастливым человеком. — Она указала на фотографию

и тяжело вздохнула: — А на картинке человек может находиться. Вот как я со своим Колей в день свадьбы. Недолго мы с ним прожили, совсем недолго. На картинке только и остались.

Пашка и пристал к ней: Расскажи да Расскажи. Сильно понравился ему этот бравый парень на фотографии. Ну, и ей, видать, захотелось рассказать ему о своей жизни. Другому бы не рассказала — пересудов не оберешься потом. А Пашка — что ж, мальчонка выслушает ее и не пересудит с кем-то другим. И услышал он ее печальную историю, как через пять лет после свадьбы осталась она вдовой погибшего в гражданскую войну красноармейца. Да она и тех пяти-то с ним не прожила: он с одной войны да на другую, считай, тут же ушел. В первой-то сумел выжить, а вторую перехитрить не сумел. Вторая, она своя была, гражданская: в том смысле, что свой гражданин своего убивал. Оттого и не разбиралась война, кого больше поляжет: красных, белых или синих — какая разница, раз они все свои? Вот с тех пор так и живет она одна. Пашка смотрел на фотографию, и чудилось ему, что это отец его. И хоть не было у его мамы ни одной ни ее, ни его фотографии, но уверен был Пашка, что отец был именно таким красивым и веселым.

— Жалко мне его, — искренне сказал он. И, подумав, добавил совсем по-взрослому: — Ему бы жить да жить.

— Жалко, — эхом откликнулась тетя Даша.

— Трудно тебе, тетя Даш, одной-то, — посочувствовал Пашка. — Все время одна, одна. Трудно.

— Я не одна, Паша. Одной и вправду бы трудно было.

– А кто еще есть? Родные?

– Нет у меня родных, Паша. Всех гражданская выкосила. Где-то в Казахстане, правда, сестра двоюродная живет, так от нее вестей уж лет десять как не было. У меня только мой Христос есть. Он мне всех и заменил: и Николая, и детей, и родных. Если бы не Иисус, давно не было бы уже и меня.

– Иисус? – переспросил Пашка. – Если бы не Он? А Христос?

– Иисус и есть Христос. Я тебе уже говорила про Него.

Глава 8

Иисус... Пашка тут же вспомнил Славика из четвертого класса, над которым все постоянно издевались и называли не иначе как Исусиком. Или Святошей. Прозвали его так после того, как учительница однажды на весь класс обсмеяла его за то, что у него верующие родители. А когда, несмотря на такой, по общему мнению, позор, он уперся и сказал, что родителей он все равно любит, и именно потому, что они верят в Бога, она с наигранным участием спросила:

– Вот как? Ну, а ты, стало быть, у них Исусик? Святоша?

Все! Прозвище пристало накрепко. Вряд ли и сама учительница что-то знала об Иисусе. Тем более ученики.

Они стали называть его так вовсе не по какой-то ассоциации с кем бы то ни было: о настоящем Иисусе они и понятия не имели. А просто так, по инерции. Но то, что над Славой можно теперь издеваться безнаказанно, — этот посыл они уловили точно. Мальчику просто прохода в школе не давали. Его дразнили даже первоклашки. Сам Пашка в этом никогда не принимал участия, как, впрочем, и ни в чем другом, но и не защищал бедолагу. А один раз даже по какой-то причине дал ему подзатыльник. И Славик взглянул на него и заплакал. Заплакал не от боли, а оттого, что Пашка до этого был единственный, кто его не трогал. От остальных он не плакал — привык. И Пашка это понял. Во взгляде мальчика не было страха или злобы, но какое-то растерявшееся недоумение и... печаль.

— Что я тебе плохого сделал? — тихо спросил он. — Что?

Пашка хотел что-то ответить, но только вобрал голову в плечи, махнул рукой и быстро ретировался. Но вот этот взгляд Святоши не давал ему покоя весь остаток дня. И даже ночью у него горела ладонь, которой он дал этот злосчастный подзатыльник. На другой день Пашка первый подошел к нему после уроков и решительно взял из его руки сумку. Славик съежился: обычно после этого его сумку начинали пинать по всему коридору. Но Пашка только неловко улыбнулся ему.

— Пойдем, я тебя провожу сегодня, — пробормотал он, не глядя ему в глаза. Он боялся увидеть там ту самую печаль.

Надо ли говорить о той благодарности, с какой Славик воспринял это предложение. Ведь с угрюмым, нелюдимым Пашкой-второгодником в школе никто связываться не хотел. И надо было видеть, в каком недоумении провожали другие ученики эту пару таких совершенно разных подростков. Ну да это, конечно же, на один день, не больше. Но и на следующий день повторилось то же самое, и на последующий, и еще. Вот нашлись уже и другие жертвы для детских жестоких забав, а эта пара так и не разлучалась. И чуть не хватил учительницу удар, когда Пашка впервые за всю учебу поднял руку, чтобы ответить у доски. И с удивлением констатировала она, что не такой-то уж он и тупой, этот Пашка, как привыкла она считать, потому что никогда не отвечал он на уроках. А тут начал на каждом уроке тянуть руку и отвечать. И как отвечать! Что повлияло на этого «твердого» троечника с «камчатки»? (То есть с последней парты.) Все, что угодно, могла она предположить, за исключением единственно верного: дружба с тем самым верующим мальчиком, родителей которого она так бесцеремонно облила грязью.

Именно она, эта дружба, и повлияла на Пашку, потому что Славик был одаренным мальчиком, и учеба давалась ему легко. Что, кстати, еще больше усугубляло негативное к нему отношение не только одноклассников, — вон он, зубрила-ядрила, — а и учительницы. Вынужденная хоть иногда вызывать его к доске и наперед зная, что он готов к ответу, она с насмешкой предваряла свой вызов вопросом: «Ну как, успел вызубрить

сегодняшний урок? — И, не дожидаясь ответа, который ей был как бы и не нужен: ясно, мол, что вызубрил: — Ну, тогда иди к доске». То есть, то, чего он как раз никогда и не делал.

И теперь в этом Пашке довелось убедиться лично. Сказать, что они беседовали между собой о чем-то особенном, нельзя: о чем таком особенном могли говорить подростки двенадцати-тринадцати лет? Но Святоша мог так доходчиво объяснить никак не поддававшуюся задачку или упражнение по русскому, что у Пашки не сразу, но проявился интерес к учебе.

Однажды Пашка после двух-трех чтот стихотворения тут же пересказал его наизусть, и Славик искренне изумился:

— Паш, вот это у тебя память — так память. Почему же ты не отвечаешь никогда? Стесняешься?

И Пашке пришлось признаться, что он не просто стесняется, а еще и боится. Как огня боится выходить к доске, потому что «язык к небу прилипает».

Глаза Славика загорелись радостью:

— А ты не бойся. Ты попроси Боженку дать тебе смелости. Я ведь тоже боялся, ох, посильнее твоего боялся, а молился, молился и разбоялся. Попробуй, Паш, вот увидишь!

Его восторг и радость за друга — а они уже считались друзьями! — были столь очевидны, что и сам Пашка вдруг почувствовал себя не столь и ущербным, а способным на поступок. И решил с замиранием сердца: надо попробовать.

— Ты только, Славик, того, — замялся он, — не говори пока никому. Ну, что молиться.

— А и не надо говорить никому, — согласился тот. — Мой папка говорит, что молиться надо так, чтобы никто не слышал. Только чтобы ты был и Бог. А кто на люди молится, тот для виду это делает.

Вот так Пашка впервые и помолился, тайком даже от матери, на ту иконку пресвятой ее девы, потому что она и была для него Боженькой. Мама же всегда так говорила: возьми там, за Божничкой. За иконкой, значит. И то ли сам себя убедил, то ли еще что, но вызвался он отвечать на другой же день. И выровнялась Пашкина успеваемость, хорошие отметки появились.

Но как неожиданно возникла их дружба со Славиком, так же внезапно она и закончилась. Исчез Славик враз и бесследно. И даже от соседей ничего не мог Пашка дознаться. Один только слух и был, что увезли их всех ночью. Всех шестерых, включая троих детей и старенькую бабушку. А кто увез, куда — о том ни слуху ни духу. Что до школы, то так прицъкнула учительница на Пашку за его расспросы о Славике, что в одночасье вернула его в разряд нелюдимых и отстающих.

Ни единого раза больше не поднял он руку на уроках. Снова замкнулся парень в себе и больше никого в душу свою не допускал.

Сам не зная, почему, Пашка все это сейчас рассказал тете Даше. И только тут увидел, с каким волнением слушала она его.

— Жалко было расстаться с ним? — спросила она.

— Конечно. Кто, кроме меня, его защитит, я бы хотел, чтобы его никто не обижал.

Она быстро подошла к нему и прижала к своей груди:

— Это хорошо. Это очень хорошо, Паша, что у тебя доброе сердце. Я уверена, что Бог не оставит тебя в этом мире. Ты найдешь Его также, как нашел Его твой Славик. Только всегда оставайся на стороне слабых. Видишь, Бог так устроил, чтобы ты все-таки узнал про своего друга.

— Ты знаешь, где он? — привстал Пашка с топчана. И поправился: — Они. Все они: и бабушка, и дети, и отец с матерью?

— Не то, чтобы точно, но... знаю. Знаю, что опоздала машина милицейская упечь их в каталажку. Братья наши успели до этого их спрятать у себя. А потом и вовсе в другие края они подались. И пока на свободе. Пашка так и расплылся в улыбке. Но хоть и обрадовался он такому раскладу, но не ускользнуло от него слово «братья».

— Теть Даш, а ты говорила всех твоих родных война выкосила, а теперь говоришь, что братья.

— Это братья во Христе, Паша. Как и сестры.

— Это те, которые к тебе приходили? А от кого они прячутся все время?

— От того, от кого спряталась семья твоего друга Славика. Потом как-нибудь я тебе все расскажу, Паша. Обязательно расскажу, не огорчайся, — добавила она, увидев его расстроенное лицо. — Вот будешь приходить ко мне после того как все с твоей мамой образуется, тогда и расскажу. Ей недолго уж лежать осталось.

Всеми новостями охотно делилась она с Пашкой, но стоило завести речь о матери, сразу уводила разговор в сторону или вовсе его сворачивала. Сама она с утра до вечера работала на швейной фабрике недалеко от дома и в обеденный перерыв бежала домой, чтобы покормить имеющихся у нее корову с теленком, кур и уток. На скорую руку перехватывала кое-что сама и опять убегала на работу. И так изо дня в день. Вот тут совсем кстати и пригодился Пашка. Недели через две он уже выздоровел настолько, что стал вести немудреное хозяйство тети Даши. С огромным желанием взялся он присматривать днем за всей этой мычащей, кудахтающей и крякающей братией. И довольно быстро разобрался, кто из них что предпочитает.

— Ой, Паша, да тебе бы в деревне жить, — умилялась тетя Даша. — У тебя ж к ним и подход есть, и сноровка, и желание возиться с ними. Ну, чем не животновод?

Но ненадолго хватило Пашке такого запала. Как понравилось на первых порах, так вскоре и разонравилось. Все чаще с нарастающей тоской поглядывал он на улицу, и почесывались руки при памяти о его разбойных налетах на сараи горожан. Ушли в небытие те страхи, клятвы и зарок, которые давал себе. Все больше романтики навевали воспоминания о былых «делах» с разудалой шпаной. И даже встреча с Романом не столь уже страшила его: обскажет ему, что почему, и «отработает» должок.

Короче говоря, опротивело ему возиться с животными и буквально одолело желание снова почувствовать тот

будоражающий душу риск; а что риск тот бывает погубительным и что от него совсем недавно спасла его болезнь, как-то и поистерлось из памяти. Стал Пашка сохнуть «по воле». Ну, а повод, известное дело, не заставил себя долго ждать.

Сидит он так на завалинке у дома, обдумывая, как бы половчее уйти от доброй тети Даши, чтобы не обидеть ее. Весеннее солнышко уже греет вовсю и до того размогло Пашку, что аж в сон клонит. Даже лень повернуться на остановившуюся со скрипом у ворот телегу. Обернулся бы, может, и успел бы куда схорониться. Но вскинул глаза только тогда, когда тень ему солнце заслонила. И стоял перед ним, помахивая кнутом не кто иной, как его отчим Петр. В другой руке у него был какой-то узел. Совсем о его существовании забыл Пашка, а он — вот он: щелками глаз так и буравит пасынка.

— Очухался? — грозно спрашивает вместо приветствия.

Пашке непонятно, к какому времени отнести вопрос: то ли от болезни имеется в виду, то ли от того, что отчима увидел. Только промахнулся отчим, если думал, что Пашка все еще боится его. Ровно настолько же сузил он свои глаза и прошипел с вызовом тем же вопросом.

— А ты? Очухался? — и встал, опираясь на крепкий батожок. И сам удивился: ростом-то он почти ровень с отчимом стал! Вымахал за зиму за время болезни. Не одна, стало быть, беда в болезни кроется, есть и положительный момент.

Опешил от такой наглости Петр, а потом и струсил: неспроста ведь такой смелый выродок. Оглянулся по сторонам — да нет, никого вроде. Повеселел.

— Ишь ты, расхрабрился как, — усмехается. — Или забыл? — И на кнутик показывает. И кнутиком по голышам щегольских яловых сапог постукивает.

— Помню, — усмехнулся и Пашка.

Видел он, как забежали глазки отчима, а что это значит, он прекрасно знал по себе: страх это. Ну, и осмелел совсем, и повторил со значением: — Еще как помню. Вот поэтому и остерегаться ты должен... батяня, — презрительно цвиркнул он слюной в сторону. И лучше тебе не попадаться нам на глаза. Или сейчас позвать корешей, — сблефовал он, махнув батошкой внутрь дома.

И отчим поверил. И спасовал.

— Я не за этим пришел, — более мирно сказал он, не спуская глаз с дверей дома. — Я с твоей хозяйкой пришел договориться.

— Если насчет коровы или теленка, то на работе она.

— Насчет тебя.

— Ого! — присвистнул Пашка. — А чего такое?

— Чтобы ты жил и дальше у нее. Мы с твоей матерью будем ей платить, если договоримся.

— Мамка так хочет? — у Пашки задрожал голос. — Мама?

— Мы все так хотим. Нас теперь трое, понял: трое. Сын у нас родился. И мы не хотим, чтобы ты заразил его своей болезнью, понял? Вот, может, через год-два, тогда, пожалуйста. А пока в нашем доме не появляйся,

понял? — По мере того, как он говорил, голос его становился все жестче: во-первых, удостоверился, что нету здесь у Пашки подмоги; во-вторых, увидел, что поверг Пашку в состояние ступора. — Ладно, вот твои шмотки кой-какие, да метрика там на всякий случай. А Дарье скажи, что я, мол, приходил. — И совсем приказным уже тоном скомандовал: — Пусть теперь сама ко мне зайдет. А твоего духу чтоб не было! Все. Прощевай! — Повернулся и пошел, поминутно оглядываясь.

Глава 9

А Пашка так и остался стоять, как рыцарь на перепутье: в голове сумбур и тоска безысходная. И мыслей нагромождение: «Нас трое, трое, трое!» — противным тележным скрипом визжит в висках голос отчима. И поднимается откуда-то изнутри волна ненависти почему-то не столько к отчиму или матери, а к новому человечку, в мир только что народившемуся. Потому что все из-за него. Из-за него потерял Пашка маму.

А что потерял, в том тут же уверил себя. Недаром ведь и тетя Даша скрывала все это от него. И пусть даже его жалеючи, а все одно и на нее теперь обида взыграла. «Всем вам отомщу, всем!» — все больше и больше распаляется он, и, не понимая еще, что предпримет, он, не дождавшись тети Даши, уже бежит бегом к центру городка. Ну, понятно, что к базару, не к театру же. И не

видит (так ведь увидишь разве?), каким злорадством ослабился враг души человеческой и угодливо подсовывает Пашке приятные в данный момент случайности. Да еще какие приятные: не успел добежать еще, а уж бывшего своего предводителя Мору повстречал и новость от него — ну, наиприятнейшая! Оказывается, загудел его Роман на о-очень большой срок и не будет у него, у Пашки, то есть, на ближайšie пятнадцать лет покровителя. Мора-то, конечно, обратное думал: что заботится теперь Пашка без Ромки и к нему на поклон придет. Жить-то надо. Ага, не в курсе, значит, он был, что Пашка сам пуще огня того Ромку боялся, не в курсе. И не предполагал даже, что новость такая для Паши, что бальзам на душу. Видит только, что его бывший соратник по делам воровским в радости зашелся и спрашивает озабоченно:

— Ну, так че, придешь ко мне? У меня щас хевра что надо. Не по заплотам промышляем, поважнее дела. — И сам от этого заважничал, грудь хилую расправляет. Мелкий он, Мора, плюгавый и незначительный («Маленькая собачка до старости щенок», — охарактеризовал его однажды Роман), но гонору — хоть отбавляй. По годам он — да, старше своих подельников, но ростом Пашка теперь выше его на целую голову. Все же отказаться так вот прямо в лицо не отважился: Мора злопамятный и пакость всегда наготове держит.

Потому и ответил туманно и ненадежно, что, мол, из больницы только что, слабый сильно, но как окрепнет, подумает. Связываться же с Морой и не думал: себе

дороже будет. Обязательно в какое-нибудь дерьмо вступишь.

— Подумай, хорошо подумай, — разрешил Мора. — Только поторопись. Тут как раз мы одно ха-арошенькое дельце обтяпать должны.

У Пашки на языке вопрос о Федьке вертится. Раз масть покатила вот так сразу, то и дальше должна. Примета такая. Но спросил безразлично, как бы походя:

— А случайно о Федьке ничего не слышно?

— О Федьке? — как-то стушевался Мора. — А че о Федьке может быть? Ниче не знаю. — И, уходя уже, добавил: — Может, барыги че знают. Спроси.

Но Пашка уже не слушал. Главное он узнал: Федька здесь и ничего с ним тогда не произошло. Не убили Федьку. А что он Пашку не нашел, как обещал, так кто ж его мог в той больнице найти? Совсем расслабился Паша. Свободно и непринужденно продолжил свой путь. И бежалось легко, будто под горку все. По наклонной оно ведь бежать всегда ловчее. В том числе и по жизни когда. Во всяком случае, так кажется человеку. Теперь вот и план уже в голове созрел. И угрызений совести уже никаких в наличии. Все путем.

А минут через двадцать несколько смущенный Пашка уже сидел напротив Федора. Смущенный потому, что впервые в жизни находился он в таком богатом, помпезном доме — настоящие хоромы. В этой части городка они с пацанами появлялись очень редко, если появлялись вообще. Потому как не разгуляешься тут особо-то. Тут, брат, кругом милиция, и шпане казаться ей на глаза ни-

какого резона нет: сгребут, и пикнуть не успеешь. Потом доказывай, что ты ничего не замышлял. Не-е, нехорошее место, небезопасное. Но до чего ж красивое! Особенно в эти майские дни цветения садов. И этот особняк с зеленой лужайкой в разноцветье такого же огромного сада казался просто сказкой. И ему не верилось, что такой дом может принадлежать Федору. О чем и не замедлил усомниться вслух.

— Правильно не веришь, — усмехнулся Федя. — Не мне и даже не Климу. Нынче все принадлежит государству. А мы всего лишь его слуги, понял? Ну, ладно, подрастешь, тогда и поймешь. Рассказывай, где пропал. Клим многим тебе обязан. Велел отблагодарить тебя. Так что пользуйся моментом и выкладывай свою просьбу. Да, это ты ведь тогда камнем в окно запустил?

— Я, — кивнул головой Пашка и содрогнулся от памяти, и признался: — Только потом так вчистил, что ай, да ну. Страшно стало. Там же их шобла целая была и Ромка с ними, а вас всего двое.

— Вовремя ты нас упредил, вовремя. А твой Ромка — последнее дерьмо. Но не дурак. Сам-то не полез в бучу — корешей натравил. Да ошибся маленько. Достал я и его. Ну, ничего, там, — Федя сделал паузу и посмотрел на собеседника сквозь четыре скрещенных пальца, — там его поправят. Ладно, ладно, — упредил он Пашкин интерес, — обо всем этом потом. Сейчас рассказывай, что у тебя.

И Пашка рассказал: и про болезнь, и про тетю Дашу, и как отказал ему отчим от дома. Утаив, правда, что родился у него брат сродный: к чему деловым людям

такие семейные незначительности! А в конце признался, что хочет в отместку обчистить отчима и податься в теплые края. Только вот подводы, мол, нет и напарника надежного, чтобы товар в один присест перетаскать и сдать барыгам. Федор внимательно выслушал.

— Та-ак, значит, решил экспроприатора экспроприровать? — с трудом, но довольно внятно выговорил Федор и оттого расплылся в довольной улыбке.

— Ч-чиво-о? — Пашка вытаращил глаза.

— Да это я так, Паша, по-научному, — расхохотался Федор и качнул головой: — В первый раз удалось без запинки выговорить. Но и тебе советую такими словами обзавестись. Для форсу. А по-нашему это значит: грабь награбленное. Короче, грабителя-отчима грабануть хочешь?

Пашка согласно кивнул.

— А потом в теплые края? И куда, например?

— На море. Или в Ташкент. Слышал, там тоже тепло.

— Ну, что ж, дельно. Настоящий мужик, Паша, должен уметь постоять за себя. А если там товару не будет, ты об этом подумал? Ты ж четыре месяца дома не был?

— Есть там товар, есть, — убежденно сказал Пашка. — У него и в этот раз подвода груженная была. Не видел только, че там. А если не будет, — ожесточился он вдруг, — спалю сарай вместе с хатой!

— Ого! — поразился Федор такому заряду злости у подростка, но, вспомнив, с какой яростью тот душил Кузю, лишь усмехнулся: — М-да-а, достал, видать, тебя отчим. Ну и поделом ему. Вот только с огоньком-то не

балуи. Выбрось это из башки, если хочешь, чтоб я тебе в помощь был. В общем, так: завтра ночью обстригаешь все свои дела с моими хлопцами. И не на подводе, а на машине, понял? Они сами все сдадут барыгам, потому что тебя те объегорят. Это уж как дважды два. А утром мы с тобой убудем в одно забавное местечко. Я как раз туда направляюсь и рад, что ты успел меня застать здесь. Только запомни накрепко одно, любитель теплых краев: никакого огня. Я приму и увезу тебя, даже если там, у твоего отчима, будет голый вассер. Есть у меня для тебя кое-что на примете.

Распрощался Федор с ним, как с равным, — по ручке. Оттого Пашка и прошелся по фойе фертом с гордо поднятой головой. Но уже на выходе вдруг отпрянул назад и замер. Там, на подъездном крыльце, облокотившись на резные перила, курили и оживленно разговаривали две дамы. Одну из них он тотчас узнал. «Ухаже-ер!» — неприятным воспоминанием кольнуло Пашке душу, и он, нахлобучив кепку на самые глаза, боком, боком проскользнул за их спинами и бесшумно умчался по выстланному по земле мягкому лепестковому ковру.

Уже в конце сада оглянулся, и показалось ему, что смотрит та дама ему вслед. «Что бы она тут делала?» — недоуменно пожал он плечами и тут же забыл о ее существовании.

Ну что, обчистил Пашка своего отчима. По всем правилам воровского искусства обчистил. И (что поделаешь, наслушался уже воровских историй и традиций надуманных!) решил на память о себе оставить свой

автограф: прихватил с собой Жука, надежного стража имущества отчима. Чтобы, значит, у того не было сомнений, чьих рук это дело. И схлопотал за это первый неофициальный выговор от Федора:

— Ты это пижонство брось! Мал еще — это раз. И второе: откуда тебе знать, что не придется сюда больше возвратиться. Мать-то твоя здесь остается. А ты ведь, получается, и ей подкузьмил: как они теперь насчет тебя разберутся? — И снова поразился недетской озлобленности Пашки.

— Как разберутся, так и разберутся. Это их проблемы. Я сюда больше ни ногой, потому что она меня на него променяла, — решительно рубанул он рукой по воздуху.

Все же Жука пришлось отпустить, а вернее, прогнать, так как тот никак не мог понять: в кои-то веки дождался своего любимого друга, и — нате вам! — тот гонит его от себя.

В таком же недоумении осталась и тетя Даша, которой он оставил записку, что уезжает в «теплые края». Ну, да ладно, хоть благодарность выразил, и то ей на душе теплее. А ведь как хорошо они перед этим беседовали. Как ловко Пашка разыграл перед ней радость от известия, что у него теперь есть братец. И сразу же порешили, что через пару дней вместе навещают мать, ну, в воскресенье, то бишь. Столько возбужденной радости было во всем его поведении, что она ни на минуту не засомневалась в искренности его чувств. Откуда было этой простой женщине угадать, что поводом для столь необычного возбуждения были совсем другие ожидаемые обстоя-

тельства. Она была счастлива от сознания, что два родных человека — мать с сыночком — скоро воссоединятся, и появится у Пашки новая забота: о матери и сродном братце. Даже то, что он не спросил у отчима, как назвали ребенка и как мать с ним себя чувствуют, не посеяло в ее душе сомнения. Так ведь ясно, что это от волнения забыл Пашка обо всем на свете. И только перед сном уже, когда стояла она на молитве, что-то екнуло, защемило беспокойством внутри, но — ах, да мало ли забот за весь-то день накопится! — быстро отогнала она все это прочь. Напоследок все же порассуждала вслух.

— Ты, Паша, и отчима постарайся полюбить, он таким-то уж суровым не будет с тобой теперь. Смотришь, и отзовется твоя любовь в нем делом добрым. Господь нас узами любви к Себе влечет и называет их узами человеческими. Потому и мы ими должны друг дружку привлекать. Принуждением да страхом завоюешь ли человека? Этим можно только угодничество да ненависть посеять. Ну, а что человек посеет, то и пожнет — это каждому известно. Ты будешь любить — и тебя полюбят. А как же! И ко мне приходи, не забывай меня.

— Ну, что ты, тетя Даша, как же это я тебя вдруг бы забыл! — в необдуманном порыве вполне искренне воскликнул Пашка. И тут же почувствовал, как гнетом неведомым на самое дно души опустилась та ложь великая и лок за собой, столь же тяжеловесный, захлопнула. И обожгло стыдом за явную ложь, впору каяться, прощения просить у этой доброй женщины. Да и попросил бы, наверное, если бы не стыд, опять же, ложный: «Что теперь Федька обо

мне подумает? Сам же напросился, а потом — в кусты? Да я слабак, ли че ли?» И потом, разве может сравниться положение скромного верующего с блеском воровской романтики? А грандиозная перспектива стать на одну ногу с самим Федором, а может, даже и с Климом! Это уже вам даже не Ромка. Но все же добавил с какой-то затаенной, но непонятой еще им самим, уверенностью: — Я тебя никогда не забуду, тетя Даша, ты же мне, как мама.

Глава 10

Не сдержал Пашка слова, обманул тетю Дашу. Если и вспоминал ее, то только тогда, когда на душе муторно было, то есть, в очередной отсидке. Отсидки эти, правда, наступили для него не сразу. Первое время было удачным. Даже чересчур. Схема их разбойных нападений была проста. Клим по наводке Майи заводил знакомство с богатым «клиентом», до мелочей выведывал все интересующие его данные: что, где и когда. И уже потом вступал в дело подученный за два с лишним месяца Пашка. По ночам он бесшумно проникал в облюбованный дом, где уже знал всю обстановку, и избавлял хозяев от денег и драгоценностей. Больше они ничего не брали. В случае же «прокола» в доме потерпевших тут же совсем кста-ти — или совсем некстати, это уж смотря, кому как, — появлялся «наряд милиции» в составе Федора и еще тех самых двоих его дюжих молодцев, с которыми Пашка

когда-то обчистил отчима. Они якобы только-только получили сигнал о преступнике от бдительных сограждан, и как это хорошо, что успели вовремя. Нельзя сказать, что такое развитие событий хоть раз обрадовало потерпевших, напротив: они почему-то с жаром принимались защищать юношу, который, по их мнению, и на преступника-то вовсе не тянет, — так баловство одно. Но «стражи порядка» были неумолимы. После короткой беседы и составления протокола предлагали свидетелям (самим хозяевам или погодившейся тут прислуге) проследовать, — разумеется, вместе с задержанным и с драгоценностями — в «отделение до выяснения». Те вежливо отказывались: поджидавший у дома «воронок» внушал им куда больше опасений и сулил неизмеримо большие неприятности, чем потеря драгоценностей. Тогда начальник наряда, бессильно разведя руками — не смею принуждать, — заверял, что все это они получат завтра же после надлежащего оформления. У них, мол, ничего не теряется, и для пущей важности оставлял им номер телефона, не оставляя уже никаких надежд на встречу с любимыми «побрякушками».

К чести Пашки, надо сказать, что «работал» он настолько тонко, что такие случаи происходили не так-то и часто. Но все же были. А уж на самый, что ни на есть, худой случай знал он одно: ни в коем случае не признать, что хоть раз в жизни видел этот наряд милиции. Сам, мол, по себе воришка — и точка. Соблюдет такой уговор неписаный — вытащит его Майя из любой каталажки, даже с каторги. Не соблюдет — придется пенять на себя:

достанут его и у черта на куличках. Федор на всякий случай привел в пример Романа. Причем упоминал он его имя неизменно в связке со словом «твой», как бы призывая Пашку учиться на ошибках своего бывшего шефа.

— Вот Ромка твой «раскололся», да еще и в «сексоты» нанялся — и что? Я — на воле, а он весь срок тянуть будет. Да и догорбатится ли до конца — еще вопрос. Ты думаешь, кто тут погоду делает? Мы, урки? Не, Паша, мы с тобой — мелочь пузатая. Без Майки нам всем грош цена. Даже Клим у нее под каблуком. В общем, что бы ни случилось, блюди воровскую честь, и тебя не оставят в беде.

Но время шло, и стал замечать Пашка, как все сумрачней и молчаливей становился Федор. Все меньше слышно было от него добрых слов в адрес «сладкой парочки», как он называл Майю с Климом. Заметил это не один Пашка. Клим был большим психологом и, вероятно, понял, что у Федора наметился нервный срыв. Поэтому и пообещал махнуть с ним «на юга». Развеемся. Нет, не по ресторанам и борделям, — этого добра им хватало везде и всегда, — а именно что «на юга». Туда — к морю, с головой и в волны! Вот только, мол, пару-другую делишек обстригаем — и айда гулять! Да вот беда: делишки эти, как назло, одно другого соблазнительней — ну, почти без риска, «верняк», то бишь! — сами так в руки и просятся. Ну, и как же тут, извините, остановишься, если «фарт покатил»? Заметьте, никто на этом этапе «фарт» не рассматривает в качестве страсти к наживе.

А ведь не зря воры когда-то очень давно сами себе присловье сочинили: «Жадность фрайера губит!» Сочинить-то сочинили, а кто-нибудь к нему хоть раз прислушался? Не-е, не было такого. Иначе не столь часто заменяли бы в поговорке настоящее время глагола прошедшим временем, то есть, на вот это горестное во все времена: «Эх, жадность фрайера *сгубила!*» Вот это уже точно: сгубила она, сгубила. И не одного, и не обязательно *фрайера*.

«Проккололись» они на одном ушлом нэпмане, который с милицией в ладах оказался. О засаде Федьку с хлопцами в последний момент успела Майя предупредить, и «по вызову», как это ожидалось, они не сунулись. А вот Пашку чекисты «замели». Он к тому времени еще паспорт не получил и ответил по всей строгости закона отсидкой в колонии для малолеток. Сколько ни бились с ним оперы, стоял Пашка на своем: никого не знаю, ни с кем в сговоре не был и т.д. В общем, свою часть уговора выполнил и в душе надеялся, что не сегодня-завтра вызволят его друзья. Хотя какие там друзья — натерпелся он от них всех предостаточно. И с той поры отвернулась от Пашки фортуна. Никто о нем и не вспомнил, как то обещано было. А может статься, что и сами налетчики подсели, кто знает? Вообще-то должны они были бы вызволить его, если бы сами на свободе были, должны. Во всяком случае, Пашка такой мыслью и оправдывал их бездействие. Первое время. Потом вспомнил последнее откровения Федора и поутих в мечтаниях. И при первой же возможности сбежал. Погулял с полгода, но даже

не успел как следует обрасти воровскими связями, как поймали на очередной краже, и к трем недосиженным добавили еще год, аккурат через который он опять сбежал. Ну, в общем, пошла сплошная арифметика жизни. Опять поймали, но на этот раз не ответил по всей строгости закона, благодаря какому-то фантастическому стечению обстоятельств. Обстоятельства эти явились ему в виде комиссии по делам несовершеннолетних. Пашка-то сам уже всю себя сознательно взрослым гражданином числил. И кто там что напутал в документах, чьему головотяпству Пашка был обязан своему чудесному — пусть и временному — избавлению от прямого следования к месту отсидки, было для него загадкой. Но факт остается фактом: за сутки до суда его прямо из КПЗ препроводили (под охраной, разумеется) вместе с группой подростков на вокзал, погрузили в спецвагон и отправили на перевоспитание в знаменитую колонию для малолетних правонарушителей имени Ф.Э. Дзержинского близ Харькова. Сам факт замены приговора на такую благотворительную акцию вызвал в Пашке бурю ликования. Но перспектива быть разоблаченным сразу же по прибытии на место (а так и будет, как пить дать) несколько омрачала его приподнятое настроение. Ведь то, что это чья-то грубая ошибка, сомнению не подлежало.

Ну, над такой пустяшной мелочью Пашка недолго ломал голову. Ландшафт за окнами был скучнейший, и шпана бесцельно слонялась по вагону. И чтобы хоть чем-то заинтересовать необремененных созерцанием при-

роды подростков, он предложил им мгновенный способ разбогатеть. Таким образом за вяло и однообразно текущий день он солидно пополнил свой капитал, успев обыграть в карты всех, кто пожелал испытать в них удачу. Интересно было наблюдать, как из рваных, обтрепанных лохмотьев, которые и одеждой-то нельзя было называть, то и дело, кроме денег, извлекал кто-нибудь из шпаны очередную дорогую вещицу. Она тут же оценивалась и придавала игре дополнительную интригу и разнообразие: на «кону» часы, портсигары, брошки и прочая дребедень. Себе Пашка оставил только часы и причудливый портсигар, оснащенный зажигалкой, остальное раздал в качестве «чотора», чем сразу же приобрел среди шпаны непререкаемый авторитет. И первой же ночью, прихватив кое-что из вещей сопровождавшего их комиссара, приготовился раствориться в гостеприимном городе Днепропетровске, где когда-то изволил «работать» с Федором. Но замыслу не дал осуществиться неприметный для него до этого времени рослый чернявый парубок в кожанке, перехваченной широкими ремнями, и щегольской военной фуражке. Он вырос у Пашки за спиной аккурат в момент, когда тот уже открыл отмычкой дверь в тамбур.

— Шо ж ты так заторопывся? — подтолкнул он Пашку в тамбур и закрыл за собой дверь. — Далече собрался? Ну-ну, не дури. — Он как клещами сдавил Пашкин локоть, а его самого буквально вдавил в стенку вагона, да так, что тот сразу же оставил всякую попытку сопротивляться.

«Чекисты! — пронеслось у него в голове. — Вот это влип. Вот тебе и коммуна для малолеток. Что буди-ит!»

Для Пашки это могло означать лишь одно: раз чекисты, значит, его бывшие подельники, в том числе и Федька, на нарах. Это как минимум.

— Слухай сюды, хлопец, — громко, не таясь, продолжал между тем парубок, мешая русские слова с украинскими. — Ты шо-то путаешь. Вас усих везуть прямо до Харькива. И там вас ожидают, понял? О! Молодчина. Понятливый. То ж я и бачу, шо не зря мени особливо за тобой велено доглядать. Запоминай: посунешься ще раз до того тикать — прихлопну, як куренка. За то мени ничего не будэ. А если сбежишь — будэ. Ну? Шо для мэнэ краще, розумиешь?

— Розумию, розумию, пусти руку-то, — Пашка потер саднящий локоть. — А кто это тебе велел за мной особо присматривать?

— Про то мэни знать не треба. От сдам тебе з рук на руки и пытай тогда их сам, хто вони е. А зараз шмутки комиссаровы на место возверни. Иди! И бильше не трепыхайся. Бо Грицько, ну я, то есть, дюже страшний в гневе. Ой, дюже. Ты соби даже не можешь представить, який страшний. Так што, пишлы.

Они вернулись в вагон, но весь остаток ночи проворочался Пашка в догадках. Да и наступившее утро ясности в сознание не внесло. И чем больше думал, тем невероятнее становились предположения. Вплоть до того, что его хотят вернуть и судить еще и за ограбление отчима. От Харькова-то до ихнего Богодухова рукой

подать. Да, многовато темных делишек оказалось на совести совсем еще юного воришки. И за каждое могут привлечь к ответу. Даже сам не предполагал, что бояться придется за столь многое. Они всплывали в памяти и как бы напоминали ему, что за все в жизни надо платить. Но обо всем этом знали только Федор со товарищи. И больше всего ему не хотелось, чтобы это были они, кто выдал его. А если все же так, то как могло стать, что они сделали это? Разве им это выгодно? По опыту и всем доступным Пашкиному уму воровским раскладам выходило, что — нет. Тогда откуда энкаведешники? Единственно, что не выходило из головы, — это последний разговор с Федором по душам как раз накануне того дела, оказавшегося для Пашки роковым.

— Паша, — сказал тогда Федор, — хорошо запомни, что я тебе сейчас скажу. Если со мной что случится, постарайся сразу же «сделать ноги» от Майи с Климом. Не твоя здесь дорога, Паша. Не с ними. Мне от них уйти сложно — руки у них длинные. А тебя они вряд ли искать будут. Но это — пока не будут. Чем дальше в лес, тем больше дров. Придет момент, когда и тебе за просто так от них будет не отделаться. Выгорит сегодня дело — уйдешь со мной. Не выгорит, и я попаду — уходи один. Потом сам все поймешь. Только поклянись мне, что уйдешь.

Пашка и сам уже тяготился той уж больно незначительной ролью, которую ему отвели в банде. Незначительной в том смысле, что, выполняя по сути самую рискованную часть «работы», он почти ничего не получал из добытой им прибыли. Получалось, что он работал за

харчи и крышу над головой, которая не всегда была даже достаточно надежной. Ничего потому и удивительного, что Пашка тосковал по своим первым апартаментам, там, в родном городишке, и давно мечтал подсуетиться, то бишь, украсть где-нибудь на стороне и махнуть в призрачный город своей мечты — Ташкент.

Но дисциплина в банде соблюдалась строгая: никаких грабежей без вехома Клема! Наказание могло быть страшным. Как-то раз Пашка уже ослушался негласного устава и втихаря обчистил одну приглянувшуюся квартиру. И так же, как ему казалось, тайно, без свидетелей, сбыл краденое. Но не успел насладиться шурианием в карманах денежных купюр, как в тот же день оказался «на приеме» у Клема.

— Ну, Паша, — показал тот сворованные им вещишки. — Что будем с тобой делать? Впрочем, что я спрашиваю: ты ведь и сам это хорошо знаешь, правда? Говори, где взял?

Отказываться было бессмысленно, и больше изумленный, чем струсивший, Пашка назвал и улицу, и дом. И сбавировал, что, мол, грех было не взять: раскрытые двери, ни души кругом. Как пройдешь?

— А вот так и пройдешь в следующий раз, — колючими глазами впился в него Клим и так саданул под дых, что согнулся Пашка пополам — ни вдохнуть, ни выдохнуть, хоть с жизнью прощайся.

— Ты знаешь, кого грабанул, идиот? — не обращая внимания на Пашкины муки, продолжил Клим. — Знаешь, во сколько нам обойдется твой фарт? — И снова придвинулся к пацану.

Тот, немного очухавшись, в страхе выкинул вперед руки.

— Не бей, Клим, не буду больше. Все понял. Отработаю. Вот, все тут. Забери. Мне ничего не надо...

— Не бить! Идиот! Ты ведь иначе ничего не поймешь. Я что — за деньги тебя к порядку призываю, а? — И снова неуловимый толчок локтем, и Пашка в судорогах закатался по полу.

— Ты теперь нас всех подставил, понял? — прошипел Клим, и нагнувшись, схватил Пашку за шиворот. — Это-то хоть до тебя доходит? — Вдруг он почувствовал чью-то руку на плече и резко отпрянул в сторону. И побледнел.

— Ты чего, Федя? Ты как сюда зашел?

— Да вот, зашел, — Федор уставился на Клина тяжелым взглядом. — Взял да и зашел посмотреть, как ты с Пашкой воюешь. Вставай, Паша. Получил ты правильно, заслужил, но больше Клим тебя не хочет учить. Подожди-ка меня на улице. О чем они там говорили, Пашка никогда не спрашивал, но с той поры стали перепадать ему кое-какие гроши от добычи. Но еще с того самого момента он стал планировать и свой уход из банды. Потому как обида и животный страх перед Климом и его поделниками не оставляли его ни на минуту.

И только присутствие Федора (надежда на него) уравнивало все его страхи. Как бы там ни было, Пашка давно был готов «сделать ноги» от них. А теперь и сам Федор об этом столь убедительно говорит:

— Выгорит дело — уйдем вместе, если же «заметут» меня, уходи один. Только поклянись, что уйдешь.

И Пашка поклялся, не задумываясь. У него тоже было скверное предчувствие то ли конца, то ли просто расставания. Только получилось наоборот: Пашка попался с поличным, а не Федька.

Больно много воды утекло с того их разговора. Хотя и не по своей воле, а выполнил он наказ Федькин — «сделал ноги» от Клим с Майей. И давно уже научился обходиться без подельников. К этой бродяжьей жизни он уже настолько привык, что другой-то для себя и не мыслил. И вот теперь довольно обыденно (как тому и положено быть) выискивал способ сбежать в очередной раз. Но из вагона их не выпускали, да и чернявый Грицько не спускал с него глаз. Вполне возможно, что теперь это Пашке просто казалось, но стоило ему лишь двинуться с места, как тот вырастал у него за спиной. У страха глаза велики. И Пашка запаниковал: сомнения переросли в убежденность, что его везут на очную ставку с налетчиками. И если среди них нет Федора, то ему просто не сдобровать. Исполнится та роль, которую, может быть, ему изначально и готовили: роль «козла отпущения». Он лихорадочно прокручивал в воображении сцены опознания и старался выстроить свою линию поведения. Собственно, выход-то был один-единственный и опробованный им уже не один раз: «идти в несознанку». Но, с другой стороны, кто-то нашептывал ему утешение: «Да нет же: ни Федька, ни другие ни за что не продадут тебя. Это же им самим „вилы“, а с тебя какой теперь спрос? Больше тебе уже не наматывают. Зато какой будет почет в зоне! Это ж тебе статья — налет! — не шушера мелкая

какая». Он немного успокоился и даже пообедал вместе со всей шпаной, которую успел уже обыграть в карты по второму кругу. А ближе к вечеру Грицько поднял его с лавки и коротко мотнул головой.

— Пишли!

Пашку охватило тягостное предчувствие. Он взял с лавки свою котомку и как можно безразличнее — ну, это уже перед шпаной себя показать! — запротестовал:

— Так еще ж не Харьков!

— От человеце! — удивился служивый, — то сам торопывся, а зараз резину тягнет. Харьквив — не Харьков, давай, шевелись. — И уже на ходу оглянулся: — И не отставать у мэни.

Пашка тяжело вздохнул и, провожаемый сочувственными взглядами шпаны, последовал за конвоиром. При выходе в тамбур он приметил, как сзади него пристроился еще один в кожанке. Исчезла, если и была, последняя надежда улизнуть. Видать, наслышаны, что он любитель побегать. Столь счастливо начавшаяся кампания по его перевоспитанию в трудовой коммуны, завершалась вполне логически: вор должен сидеть в тюрьме.

«Все, обложили, — тоскливо подумалось Пашке. И вместе с наступившим безразличием, проснулось безудержное ухарство: — Прощай, воля, да здравствует зона!»

Глава 11

Они вышли в тамбур, и первый чекист стал «колдовать» у ручки двери. Пашка отрешенно смотрел на пронесившиеся мимо столбы с провисшими на них проводами и уже ни о чем не думал. Поезд, не замедляя хода, миновал какую-то небольшую станцию. Вагоны лязгали и сипели буферными тарелками и сцепками и грохотали перестуком колес. Наконец Грицько справился с дверью, и они гуськом прошли несколько пассажирских вагонов. В каждом из них было полно сонного и полусонного народа, и Пашка наметанным глазом вдруг оценил, что это просто рай для вора. Как жаль, что он этого раньше не знал! Просто иди и бери что хочешь. Даже не бери — выбирай! Такого разгильдяйства ему видеть еще не доводилось. «Мама родная! — дает он себе обещание, — если когда-нибудь освобожусь, займусь исключительно поездами. На кой ляд мне все эти налеты, грабежи, когда есть такое интеллигентное применение талантливому человеку!»

Тут, как бы в одобрение его плану, представился и удобный случай. Вагон очень кстати качнуло, и Пашка, удержавшись за верхнюю боковую полку, неуловимым движением «снял» бумажник из кармана висевшего под ней френча и тут же спулил его за пазуху. Ни его провожатый, ни тем более хозяин френча даже не заподозрили что-нибудь неладное.

Все прошло до того гладко, что Пашке сильно, до отвратительности сильно, не захотелось больше в тюрь-

му. Ведь это же надо: только под занавес наткнуться на такую «золотую жилу», где мог бы по-настоящему развернуться. Теперь вот жди свободы... до самого, быть может, до морковкина заговенья. И когда зашли в вагон, пустой коридор которого был покрыт ковровой дорожкой и где все двери в купе были закрыты на ключ, его охватила уже просто безысходная тоска. Тут едут те, кто вершит судьбы людей. Не чета простым смертным. Оно, конечно, льстит, что такие люди будут им заниматься, но как бы не пришлось вдвойне ответить за старое.

И ловит себя Пашка на том, что... молится Богу! О чем же просит он Бога? Чтобы пронесло его на этот раз — и тогда он навсегда откажется от воровства? Почти что — да. Если он избежит тюрьмы, то будет грабить теперь только в вагонах и только богатых. Этого ему кажется достаточно, чтобы заслужить прощение Бога.

Чекист дал знак остановиться и постучал в купе. Чуть подождал и вошел, задвинув за собой двери. Грицько, облокотившись на поручни, склонился к окну. На левом плече его болтался вещмешок с развязавшимся ремешком на кармане.

— Зараз сдам тебя и свободен, — не глядя на Пашку, мечтает он вслух. — А то ж другу ночь не спамши, щоб тоби...

— Да я-то тут причем? — удивился Пашка. — Спал бы да и спал себе.

— Угу. Когда бы ты не бигав, то спал бы.

— Ну и сбежал бы, что б тоби було? — поддразнил его Пашка. — Разжаловали бы, что ли? — И не дождав-

шись ответа, сам сделал вывод: — Никто бы тебя за бедного и несчастного беспризорника не разжаловал.

Грицько полуоборотнулся и смерил его недоумевающим взглядом. Он как бы говорил: «Неужели еще не понимаешь, куда ты влип, парень?»

— Бедного, говоришь?

— А то нет?

— Ага, то я и дывлюсь, шо ты бедный. Бедные из тюрьмы не тикают.

— А какие же тикают, по-твоему? — искренне удивился Пашка.

— Такие. У кого подмога на воле е. — По тому, как он внезапно смолк и испуганно огляделся, Пашка понял, что он сболтнул лишнее. — Все! Кончай балакать. Шо вони там так долго? — недовольно пробурчал Грицько и снова уставился в окно.

Пашке же, наоборот, показалось, что Грицько знает и хочет что-то сообщить ему. Он лихорадочно соображал, чем можно его расстрогать, расположить к разговору, но тут увидел, как в вагон спешно вломилась несколько мужчин в сопровождении железнодорожного милиционера. Бумажник моментально перекинул из-за Пашкиной пазухи в карман вещмешка чекиста, а сам Пашка с совершенно безучастным видом стал наблюдать их приближение.

— Вот он, — указал на Пашку передний, интеллигентного вида гражданин. — Задержите его.

Милиционер откозырял Пашкиному конвоиру. Они представились друг другу.

— Говорят, что он украл бумажник, — пояснил милиционер.

— Да вы че гоните, братцы? — разыграл Пашка недоумение.

— Когда? — искренне удивился и Грицько. — Мы его вели...

— Вот когда вели, он как раз и стянул, — вклинился возбужденный интеллигент. — У них это ловко выходит. Никто больше по вагону не проходил.

— Вы разрешите обыскать его? — снова козырнул милиционер.

— Ну, обыщите, — не стал возражать конвоир. — Что в бумажнике?

— Около пяти тысяч деньгами и кое-что по мелочи, — замялся интеллигент.

— Что именно?

— Так, камушки. Ерунда, в общем. Главное, чтоб нашлось, — сказал он выразительным тоном и посмотрел на Грицько. Пашка этот взгляд перехватил, и ему показалось, что и провожатый сильно заинтересовался.

— Ну, давайте, приступайте, — заторопил он их.

— Что, прям здесь? — заартачился было Пашка.

— Да что ж время терять, — успокоил его уверенный в их ошибке конвоир. — Приступайте, товарищи. — Предприятие его явно забавляло. Но ни у самого Пашки, ни в его мешке бумажника не оказалось, и несколько смущенные граждане неловко переминались с ноги на ногу. Смелости да даже догадки решиться на обыск конвоира им явно не хватило.

И в это время двери купе отворились, вышел второй чекист и следом появился пожилой седовласый человек в форме НКВД, при виде которого железнодорожник, щелкнув каблуками, вытянулся в струнку, отдал честь и подобострастно застыл.

— Что тут происходит? — поинтересовался высокий чин.

— Небольшое недоразумение, товарищ полковник, — отчеканил милиционер. — Все в порядке. Разрешите идти?

— Так недоразумение или в порядке? Что?

— В порядке, товарищ полковник.

— Ну, так и идите, раз в порядке. А вы давайте сюда, — показал он Пашке с Грицько.

Сбитые с толку и оробевшие пассажиры понуро двинулись назад.

— Кроме него, некому было, — донеслось до Пашки бормотание интеллигента, и седовласый пропустил его в купе.

— А теперь объясните, что вы тут устроили? — обратился полковник к Грицько, усаживаясь поудобнее на лавке, и упрямил: — Только покороче, без рапортов.

Грицько кратко изложил суть. Второй чекист подтвердил, что да, мол, следовал Пашка строго между ними и возможности что-то украсть у него не было.

— Так вы что — по вагонам его вели?! — в изумлении откинулся на стенку полковник. — Вы что, забыли предписание на его счет? Да вы бы еще наручники на него надели и табличку, что он вор, а потом удивлялись, почему это они сразу за вами увязались. А на кого ж им

больше думать прикажете? Ну, работнички! А эти пассажиры — раззявы. Ищи теперь ветра в поле. Ладно, проехали. Вот только обыскивать его не надо было позволять. Выходит, что ты в своей же собственной бдительности засомневался. Какой же ты после этого чекист, а? Дошло? Вот то-то и оно, что поздновато дошло. А теперь ты, товарищ Глеб, подежурь-ка в коридоре. И никого ко мне не впускать!

Он усадил Пашку за столик напротив себя и натурально впился в него глазами. Пашка весь скукожился от этого колючего взгляда и беспокойно заерзал по лавке. Наконец, видимо, решив, что психологическая атака удалась, следовательно разложил на столе фотографии.

— На-ка, вот, Паша, взгляни. Помнишь еще своих подельников, нет? Постой, постой, что это я с тобой так официально. Так не годится. Давай-ка сначала за знакомство выпьем, а? Давай! Ты что предпочитаешь: водку, вино, коньяк? Ага, молчишь, значит, водку. — Он налил водки в два стакана.

— Не пью я, — еле слышно пролепетал Пашка.

— Да ну! Ты видал, — призвал полковник в свидетели Грицька, как бы предлагая ему подивиться. — Вор-рецидивист Паша Балан у нас не пьет!

— Ну, да, это вин у нас не пье, — поддержал чекист. — А в другом мисъце тильки за воротник закладывает.

— Не пью я, правда, — чуть тверже повторил Пашка. — У меня даже заключение такое было медицинское, что нельзя мне спиртного. Непереносимость называется.

— Тю-ю. Да какое ж это заключение, Паша? И слово какое-то неудобоваримое выдумал: непереносимость. Это чушь одна. Вот я тебе заключение приготовил, так это да! Всем заключениям заключение. Годков эдак на пятнадцать. А вот перенесешь ты его или нет — это уже от тебя будет зависеть.

— За что это — пятнадцать? — обиделся Пашка. — Скажете тоже.

— Скажу, Паша, скажу. И это еще в том случае, если легко отделаешься. А вернее сказать, если я захочу, понял? Ты сейчас у меня вот где, — полковник показал зажатый кулак. — Весь ты тут, понял? Ну, давай, смотри. Кого узнаешь? Этот, этот, эта... Кого?

Пашка лихорадочно соображал, как себя вести. Перед ним лежали фотографии всей банды Майки с Климом. Но вот их-то самих как раз и не было. Федор был, а их — нет.

— Что, Паша? Кого-то не хватает? — усмехнулся полковник. — Кого?

«Все знает, — промелькнуло в голове у Пашки. — Все! Но тогда, получается, что это они меня самого уже выдали? Чего же мне запирается в таком случае? И чего тогда этот фон барон от меня хочет? Мне бы только про Федьку разузнать». Он поднял глаза и полковник увидел в них безотчетный страх. Пашка ткнул пальцем в фотографию Федора.

— Это Федька. Где он сейчас?

— А остальные?

— Остальных плохо знал. Что с Федькой?

— Та-ак, потемнить решил, значит. Ну-ну. Ты о следователе Дериглазе что-нибудь слышал? — Пашка в ужасе втянул голову в плечи. — Вижу, что слышал. Вот это я и есть, понял? Будешь темнить, сосунок, кожу с живого сдеру. С тебя еще не сдирали кожу? Ну, какие твои годы, еще успеется. Тебе крупно повезло, что у меня сегодня настроение лирическое. А ты сам стараешься его испортить. Короче: Майку в лицо можешь узнать? Клима? Да не трясись ты, как старая трясогузка. На, выпей воды.

Пашка трясущимися руками схватил стакан с водой, и он застучал по его зубам. Хорошую школу актерского мастерства успел пройти воришка Балан, хорошую. В нем явно пропадал великий актер. Так естественно разыграл он животный страх перед полковником, что у того даже и капли сомнения не закралось в его подлинности.

— Ладно, Паша. Значит, так. Сейчас ты мне подпишешь тут одну бумажку и пойдешь вот с этим товарищем обратно в вагон. Приедешь в колонию и некоторое время — ну, самую малость! — поживешь там. Потом сбежишь, понял? И будешь жить по воровским притонам так же, как жил раньше. Только под моим контролем. Не бойся, никто давить не будет. И знать о тебе, кроме меня, да еще двух человек, тоже никто не будет. Поможешь выйти на Майку с Климом — не пожалеешь: все грехи спишем и еще к награде представим. Не захочешь — пеняй на себя. Это я тебе говорю — полковник Дериглаз!

Он полез в портфель и положил перед Пашкой какую-то анкету.

— Вот, почитай и распишись.

В этот момент в дверь постучали и Глеб просунул голову в купе. Полковник поспешно сбросил бумагу в портфель.

— Ну? Что там у тебя? — досадливо спросил он.

— Товарищ полковник, тут начальник поезда, Павел Тимофеич, — виновато развел руками Глеб. — Говорит, что Вы его с шахматами ждете.

— Да, да, минуту пусть подождет. Буквально минуту, — засуетился Дериглаз и поманил пальцем Грицька: — Отведи Пашу обратно. Только по перрону, смотри у меня, по перрону, а не по вагонам. Ты все понял, Паша? Не вздумай хвостом вильнуть, я тебя из-под земли достану. Думаешь, как я тебя в этот раз достал, а? Вот то-то и оно! От меня, брат, не скроешься. А поможешь — всю жизнь хлеб с маслом кушать будешь. Так-то вот!

Они с Грицько вышли в тамбур, и тот закурил в открытое окно, изредка бросая в сторону Пашки косые настоженные взгляды: с чего бы это его подопечный так развеселился. Пашка же кого только не благодарил в душе за свою несостоявшуюся подпись. И свою судьбу, и начальника поезда, и его шахматы, и даже самого Дериглаза, отложившего бумаги до следующего раза. Ну, уж нет, этого раза не будет. Слишком хорошо знал Пашка, что значит стать стукачом в воровской шайке. И что его ожидает в случае разоблачения. А если бы подписал, назад дороги уже бы не было. Он хватал ртом встречный ветер из окна и не мог наддышаться. Оставалось припугнуть этого «страшного в гневе» деревенского лаптя, что у него в мешке краденое.

«Лучше это сделать в толпе, на людях, — рассудил он. — Скажи ему здесь, может просто сбросить под поезд: ручищи-то вон, что твои грабли.»

Послышался дробный, вразнобой, перестук колес, и поезд замедлил ход.

— Зараз отведу тебе назад и хочь маленько вздремну, шоб тебе пусто було, — мечтательно говорит Грицько.

— Отпустил бы ты меня, Гриша, — закидывает удочку Пашка. — На што я тебе сдался?

— Ого! Отпустил. А сам за тебя на нары, да? От человека!

— Никто тебя на нары за беспризорника не пошлет. Я ж не враг какой.

— Може, и нет. А може, и враг.

— Да где ж ты видел, чтобы враг беспризорником был, Грицько? Разве враг будет попрошайничать, а?

— А, — отмахнулся чекист, — будет, не будет, то не моего ума дело.

— Ну, хорошо. А если бы у меня были деньги... Много денег. Отпустил бы? — Пашка жадно ловит выражение лица конвоира. А оно, лицо это, надо сказать, непроизвольно вытягивается и напряженно начинает пульсировать вздувшаяся жилка на виске.

— От человека, — снова повторяет Грицько, но уже не так насмешливо. — Сам же тильки сказав, шо попрошайка. Видкиля ж у тоби, попрошайки, гроши могут быть? Ну, давай, сгортайся. Приихалы.

А сам медлит сходить, и глаза его неподдельный интерес выдают. Да и где вы видели молодого парня,

чтобы деньгами не заинтересовался. Тем более еще чекист на нищенской зарплате, который сам грабить еще толком не научился, но ждет не дождется, когда и ему начнут давать взятки, как его старшим по чину коллегам.

«Ключнул, — радостно екнуло сердце у Пашки. — Вот теперь-то я тебя, Гриша, и обую по полной программе». Навстречу им шли два милиционера, и голос его задрожал от волнения.

— Есть у меня деньги, Гриша, есть, — чуть слышно произнес он.

Тем не менее Грицько не только расслышал, но и инстинктивно замедлил шаги и склонился к своему подопечному. Все! Теперь его можно брать голыми руками. И Пашка не стал терять времени:

— Ты их сейчас же увидишь. Только не трепыхайся, что я тебе скажу. И громко не ори, а то вон твои дружки навстречу идут.

— Ты чего? — весь в напряге Грицько, но голос не повысил.

— В сумке твоей, Гриша, бумажник тот... ну, с грошами и камушками. Пассажира того, раззявы. Там и тебе, и твоей семье на безбедное прожитье хватит. Ты чего побелел-то? Я же сказал, виду не подавай. Виду не подавай, Гриша! И не вздумай меня дружкам твоим сдавать, я тебя опережу. Крик подниму, что не хочешь делиться. Гаманок-то у тебя, а? Пошшупай, пошшупай. — И после паузы, как только миновали двух милиционеров: — Ну, а теперь и посмотри. Проверь наличность, Гриша. Да что ж ты так распереживался-то? Че, первый раз, что ли?

Все переживания отчетливо отражались на лице Грицько, но, судя по тому, как он заглянул в бумажник и тут же захлопнул сумку, Пашка понял, что попал в точку. Дело сделано.

— Ото ж... колы ж ты сподобився? — таким же, как у Пашки, дрожащим голосом выдавил Грицько. Лицо его покрылось пятнами. Ко всем его треволнениям прибавилось чувство искреннего недоумения.

— Ловкость рук, Гриша, — усмехнулся Пашка, пытаюсь сохранить самообладание. И уже не как просьба, а требовательно: — Слышь, Гриша, мне нужен мешок свой взять. Все же какие-никакие, а документы там. Я тут же на другой поезд пересяду. Никто и не хватится.

— А это... эти... — заикался Грицько. — Это все мое? Тоби ничего не треба?

— Все твое, Гриша. Матери поможешь, семье... — Пашке почему-то казалось, что у деревенского хлопча обязательно должна быть большая семья. — Только с камушками осторожно. Припрячь на черный день.

— Ты можешь не бояться до Харькива ихать, — неожиданно спокойно предложил Грицько. — Там вас с духовым оркестром встречать будут. Там и умотався бы под шумок, а?

— Не, Гриша. Я оркестров не люблю. Мой отец тележного скрипа боялся, не то что музыки. Давай так: сейчас зайдем в вагон, все будут знать, что я там был. Ты двери оставишь открытыми и дашь мне знать. Остальное — моя забота. Не бойся, если меня поймают, я тебя не выдам. Не с руки мне это, понял. Только

знай, если вздумаешь меня грохнуть, все сразу откроется.

— Та на шо ты мени здався, тебя грохать, — совсем уже облегченно пробормотал Грицько. — Я согласный. Ну, вот, прийшли, залазь. А дальше... Нехай тобі Бог допомагає дальше.

— Ну, тогда не поминай лихом!

Со следующей станции Пашка уже ехал совсем в другом поезде, и немного в другом направлении.

Глава 12

Но в какую бы сторону человек ни ехал, а все свое он носит с собой. И вовсе не в вещах тут дело. То самое свое, к чему душой он прикипел и с чем не может расстаться. Или не хочет. Потому что это уже его образ жизни, без которого он себя не мыслит. Долгое время прыгал Пашка с одного поезда на другой, замечая, как он думал, следы и попутно обчищая зазевавшихся пассажиров. Но показавшийся Пашке рай для вора оказался не таким-то уж и раем. После нескольких удачных краж он чудом избежал расправы, попавшись на месте преступления. И поймавшие его мужики, недолго думая, решили сбросить его с поезда. Да не под откос, а под колеса между вагонами. А там, мол, ищи-свищи, кто кого и где сбросил. Уже и на автосцепку выволокли, но вывернулся Пашка из рук в последний момент, сшиб переднего мужика и

сиганул в тамбур другого вагона. Дальше уже спасли быстрые ноги и природная ловкость, благодаря которой, как кошка, вскарабкался на крышу вагона, пробежал полсостава и спрыгнул на зыбком подъеме. Ушел, в общем, от погони. Потом до-олго отлеживался в заградительных лесопосадках и не мог прийти в себя от страха неудавшийся Робин Гуд. И пережил то же состояние души, что пережил когда-то в том стогу сена во дворе у тети Даши. Только теперь он недолго терзался сомнениями насчет такого более или менее счастливого исхода. Мелькнула было мыслишка, что предупреждение это ему, чтобы оставил он этот скользкий путь. Что кто-то свыше следит за его судьбой и не дает погибнуть так бесславно. Да куда там, заматерел уже Пашка в воровстве и о себе высокого мнения. А мысли такие только для слюнтяев годные. Не-е, сам, только сам, благодаря своей везучести, спас себя Пашка. Как там Клим говорил: «Выживает сильнейший». Сам-то Клим — хоть и дерьмо, но мысли откуда-то умные всегда высказывал. И правильные. Да, выживает сильнейший. Вот Пашка и выжил. В смысле — вывернулся. А того мужика, что впереди замешкался, чуть было самого не отправил под колеса. Тот ведь тоже удержался: значит, квиты. Пашка повеселел даже, вспомнив, каким страхом перекошило лицо того мужика, когда он швырнул его на сцепку, и с удовлетворением отметил, что не слишком бы опечалился, если бы тот свалился под колеса. Наоборот, переживая сейчас снова и снова тот момент, он машинально корректировал себя: вот тут надо было по ногам, а вот

тут еще и по рукам садануть. И поймал себя на том, что имитирует ту схватку, дергая руками и ногами. Вот это уже лишнее для такого серьезного вора. Это уже нервы, значит. Так рассуждая, успокаивал себя Пашка, отыскивая причину своих неудач, и сделал вывод. Передрожав, понял, что в одиночку «работать» нельзя, нужно прикрытие. Чего проще! В стране полно самой разнообразной шпаны, и особенно много ее было на вокзалах. Так что далеко за рекрутами ходить не надо. Сказано — сделано. Вот под вечер как раз поезд тащится на подъем, а для Пашки вскочить на подножку на таком ходу разве составляет трудность? И высадился Пашка на следующее утро на какой-то крупной узловой станции недалеко от Тулы с целью осчастливить пару-трех шпанят принятием их в его собственную шайку. Ну да, в шайку имени Пашки Балана. А что, звучит не хуже, чем знаменитый Пашка Америка или Ленька Пантелеев. Больше всего ему хотелось, чтобы о нем заговорили в воровских кругах с таким же подбострастием, как и о других асах воровского мира. Но после того, как его тут крепко побили какие-то мужики азиатской наружности, забыл Пашка на время о славе, и жизнь ему показалась крошечным адом. Ведь неспроста это, чтобы два раза подряд на краю смерти оказаться. Ладно еще хоть мужик нечаянный вовремя там на путях между вагонами погодился, не то жить бы ему осталось совсем начхать. Чертов чучмек! И надо же было ему на глаза Пашке попасться как раз тогда, когда тот опытным глазом приценивался к паре явных вокзальных воришек. Они крутились в бесновав-

шейся у кассы толчее пассажиров. Там за билетами было целое столпотворение. А тут этот киргиз, или кто он там, носом на лавке клюет, и чемодан красивый у его ног совсем безпризорный стоит. Из кожи чемодан, аккурратно ремешками опоясанный и два замочка блестящих по бокам. Чемодан сам в руки просится — так и манит попробовать счастья: ну, устоишь ли! Запнулся Пашка слегка за ногу киргиза, как бы нечаянно, а тот и ухом не повел и только ноги подобрал под себя. Разморило, видать, давно поезда ждет. В общем, увел чемодан Пашка по всем правилам воровского искусства. Прямо из-под носа дремавшего хозяина увел. Спокойно вышел на перрон и нырнул под первый же вагон. Потом еще под один и дернул в сторону водокачки. Там завернул за нее, огляделся — никого! — и расположился осмотреть «приданое». Зажимы на чемодане расщелкнул и заколкой замочки открыть собрался. Ломать не стал, потому что давно подумывал приобрести себе как раз такой чемодан вместо прохудившегося вещмешка. Первый замочек сразу открыл, второй не поддается. И так он им увлекся, что не услышал, как подкрались те азиаты. Вскинулся Пашка в последнюю секунду, да поздно уже: накинули они ему что-то на голову и поволокли на пути между составами. Волокут и шепчут вполголоса на ломаном русском, что сейчас, мол, пару раз на ж... посадим и отпустим. А там, мол, сам живи как сможешь. За вагонами же раскрепостились и дали волю своим чувствам: сбили с ног и с шумом, наперебой лопоча по-своему (но матерясь по-русски), стали пинать и топтать ногами. Впервые

ощутил Пашка разницу между просто побоями и избие-нием «втемную». Это когда к обычному страху приме-шивается животный страх ожидания смертельного удара. И не видишь, с какой стороны уворачиваться. Он только голову руками обхватил, чтобы камнем не разможили. А они его уже за руки да за ноги подни-мать пытаются: значит, решили все-таки посадить с размаху на землю — это тогда модно было так с ворами расправляться. Ну, человек потом с отбитыми внутрен-ностями медленно чахнет.

Вещмешок на спине Пашки показался им нежела-тельным амортизатором, способным смягчить удар, и, поочередно заламывая руки, они стали скидывать его. Отчаяние удвоило силы, заизвивался Пашка всем телом, как угорь, и на какую-то долю секунды высвободил руку, сдернул мешок с головы и головой же боднул прямо в под-бородок согнувшегося над ним азиата. Взвыл тот от боли, и с его воем слился вдруг другой: дикий, душераздираю-щий вопль: «А ну, стоять!» Пашка успел заметить, что в их сторону, размахивая арматуриной в одной руке, мчится здоровенный мужик. В один момент азиатов как ветром сдуло.

Пашка ухватил, было, одного за выбившуюся рубаху, но мгновенная боль пронзила все его тело — и он скрю-чился на земле, хватая ртом воздух. Преследовать уди-равших во все лопатки киргизов, видимо, не входило в расчеты мужика. Добежав до Пашки, он склонился к нему, сбросил совсем его «вуаль», присвистнул оттого, что увидел, и спросил коротко:

— Вор?

Пашка кивнул. Он успел заметить наколки на руках мужика и потому не стал юлить. Но еще не верил, что опять легко отделался.

— А чего ж один? Жить надоело? Или как?

— В бегах я, — кривился Пашка от боли. — Вот хотел где-то здесь прибиться. Ну и на чемодан позарился.

— А-а, ну это нормально, — уважительно протянул мужчина и помог Пашке подняться. — Только чемодан, ты это зря. У азиатов там дерьмо одно: анау мынау, как они говорят. Деньги у них или в нижних штанах, или на груди на веревочке. И когда их больше трех, а ты один, их лучше не трогать. Они семеро одного не боятся. Ну, ничего, подучишься, какие твои годы. Как тебя?

— Пашка.

— А я Сашка. Видишь, как складно выходит. Или Александр. Ну, это уж как тебе удобнее будет. М-да-а, славно они тебя обработали. Придется тебе со мной на хавиру пройти. На люди-то в таком виде появляться не след. Идти сможешь? Тогда пошли, — и сказал какую-то загадочную для Пашки фразу: — Да, видно, не судьба мне, Паша, не судьба. Не-а.

«Хавира» оказалась небольшим, крытым толью, домиком недалеко от станции, без всякой ограды, с грязными стенами, давно небеленными снаружи и насквозь прокуренными внутри. Это сразу же напомнило Пашке о картежном притоне в его городе. Но здесь было аккуратно и чисто.

Александр угадал его мысли.

— Раньше тут братва собиралась. — Он говорил отрывисто и краткими фразами. — Теперь нет. Кончилась малина. Точнее, я разогнал всех. Я ведь на вокзал шел, чтобы уехать отсюда. А тут тебя молотят. Хотел пройти, честно говоря, но вижу — серьезно обрабатывают, отобьют, думаю, внутренности. Они так и хотели. Если бы посадили пару раз, не жилец бы ты был, Паша. А ты ж молодой еще совсем. Эх, рожа-то у тебя вся заплыла. Ну, ничего. Щас подойдет хозяйка этой халупы, она тебе все залечит. Она вон в том, в другом, доме живет. Это наш врач общий. Да ты не волнуйся, она хоть и напрочь глухая бабка, а дело свое знает. Да вот и она. Ты отлежись, а я к вечеру приду. По делам проскочу, раз уехать не удалось.

И прокричал на ухо вошедшей старухе, что, мол, подлечить бы надо кореша дорогого: тут, мол, на него нечаянно мешок с кулаками просыпался. Старуха согласно покивала головой и приказала Пашке снять рубаху со штанами.

— Ты, Паш, все выполняй, что Лукерья скажет, — сказал Александр, заметив Пашкино неудовольствие насчет штанов. — И терпи, если че прижигать да вправлять будет. К завтраму будешь жить, гарантирую. Она и не таких на ноги ставила. Ну, до вечера.

Лукерья и впрямь оказалась опытным специалистом. Осмотрев Пашкино, все в ссадинах, тело, безошибочно надавила на боку справа, отчего он чуть не потерял сознание, но вдруг ему стало легче дышать. А она, удовлетворенно покачав головой, стала ставить ему какие-то примочки.

А в заключение туго-натуго спеленала его грудь и ребра простыней. При всем этом своем священнодействии Лукерья монотонно мурлыкала себе под нос. И только под конец чуть слышно прошамкала:

— Таперя лежи и много не ворочайся. К вечеру полегчат.

Так оно и стало. И уже вечером, к приходу Александра, она, ослабив повязку, попросила его глубоко вздохнуть. Пашка попробовал. Получилось. И Лукерья снова перетянула его простыней. Он благодарно улыбнулся и протянул ей деньги. Прежде чем принять плату, та бросила быстрый взгляд на Александра и, получив «добро», ловко засунула деньги куда-то за фартук. Потом потрогала его затекшие глаза, сменила примочки и дала наказ:

— Ишо дня три сам поприкладывашь и пройдет.

— Ну, я тебе говорил! — довольно потер руки Александр. — Теперь давай рассказывай: кто ты есть, куда путь держишь, откуда и зачем?

А что тут говорить, если вся биография в двух словах уместается. Родился, учился в школе, воровал, еще что? Ах, да, болел однажды. Потом все больше по казенным домам. Ну, да это все у всех воришек одинаково, так что какой там интерес. Так, суета одна. Но Пашке вдруг почему-то захотелось высказаться, и он поподробнее поведал и про тетю Дашу, и про Федора, и про Грицько.

Александр слушал внимательно и лишь изредка отчего-то тяжело вздыхал. В свою очередь и Пашку разбирало любопытство: кто он такой? Ведь это ж явно, что тоже вор. Причем, не мелкого пошиба. Вон ведь и сейчас на

какое-то «дело» ходил. И что значили его слова: «...не судьба, значит, не судьба»? О какой судьбе речь? Но Пашка разумно не задавал вопросов, а пока что уточнял кое-какие детали, интересовавшие его спасителя. В том, что и он расскажет о себе, сомнений не было. Так и получилось. Вот только рассказал Александр совсем не то, что Пашка ожидал услышать. А услышав, не поверил своим ушам: Саша (урка с более, чем двадцатилетним стажем, половина из которых по зонам) совсем недавно покаялся в грехах и ждал крещения в одной из церквей Тулы. Он и уехал бы туда сегодня, но судьба распорядилась иначе: ему было суждено встретить Пашку. И не только встретить, но и спасти от расправы.

— Да, все хорошо, что хорошо кончается, — сказал он, закончив свое повествование. — А ведь стоило хоть одному твоему чучмеку не испугаться, и мне бы пришлось свой же зарок нарушить.

— Какой там не испугаться! Ты ж их так шуганул, что только пятки их засверкали. Постой, постой, какой зарок?

— Такой. Людей не трогать. Я ж говорю тебе, не урка я больше, Паша.

— Ну и приложился бы пару раз, — хмыкнул Пашка. — Что с того?

— С того то, что если бы до драки дошло, уж точно пустил бы в ход арматуру. А там и до увечья недалеко. Вот тогда-то вряд ли я куда бы уже уехал. Контроль я теряю над собой, нервы никудышные. А я не хочу этого. Я же только-только на человека стал походить. Смотри! —

Саша закатал рукав рубашки. Кожа на руке была матово-бледной с многочисленными лилово-розовыми кровоподтеками в тех местах, где должны были быть вены. — Видел? Все это наркота, Паша.

А теперь вот уж около месяца я в завязке. Тебе этого не понять, — он испытующе поглядел на Пашку. — Пока не понять. Ну, отдохай, завтра к вечеру опять приду. Раз уж не уехал, отработаю еще смену-другую. Однако Пашка понял. Некоторые его прежние подельники нюхали кокаин, как Клим с Майей, а двое (оба Сергея) кололись. Клим их держал за их искусные руки: они поддеывали все, что угодно. От подписей на документах до банкнот любого достоинства.

Иногда им удавалось кое-что утаить от Клина, и тогда Пашка втихаря сбегивал эти купюры на базарах, получая от этой пары свой процент. И он видел состояние того и другого Сергея, когда действие наркотика кончалось. Физически они были совершенно истощены, на них было жалко смотреть. Это были люди-развалины до тех пор, пока не вводили в вену очередную дозу. Несколько раз пытались они вовлечь и его, красочно расписывая, какое блаженство испытывает человек после принятия «дозы». Стоит, мол, только уколоться — и ты познаешь все прелести того состояния души. О, это nirvana, царство блаженства, говорили они. Кто знает, может, и не устоял бы пацан перед соблазном, если бы не засевающий устойчивый страх перед иглой со времен больницы.

Федор узнал и так пуганул обоих, что больше они не приставали к нему. Пашку же строго-настрого упредил,

что, смотри, мол, уколешься раз — больше не остановишься. На всю жизнь станешь у них на побегушках. По сему и знал, и уверен был Пашка, что можно завязать с чем угодно, даже с воровством, но наркотики — это неизлечимо. Каким же образом тогда смог это сделать Александр? И как-то вечером, уже совсем оклемавшись, он осторожно поинтересовался на этот счет.

Александр ответил не сразу.

— Постарайся поверить в то, что я сейчас скажу, Паша, — начал он, как бы рассуждая вслух. — Думаешь, я не пытался завязать с наркотой? Да бесчисленно раз. И клятвы давал родным и жене, и зароки. Я же понимал, что умираю медленной смертью. Ты ахнешь, если узнаешь, какие бабки платил я всякой шушере за то, чтобы вылечиться. И знахарям, и колдунам. Только все напрасно. А Он, Бог наш, Паша, — Иисус Христос — в одночасье избавил меня от этой напасти. Он не лечил меня. Он дал мне силу, которой у меня до этого никогда не было. Силу переломить себя. Устоять при ломке от соблазна облегчить страдания желанным дедалом. И на этот раз я устоял. Устоял! — Глаза Александра излучали необыкновенное, ничем не прикрытое торжество, а голос ломался от радостного возбуждения. — И думаю, что никогда не вернусь к этому занятию. Тогда и дал зарок завязать со всем прошлым. Со всем, что было в той жизни: воровством, пьянкой... Ну, и драками, само собой. Вот, так-то вот.

— Для чего ж за меня тогда влез? — поежился Паша. Он ясно представил себе, что с ним стало бы, не защити его Александр.

— Для чего? — переспросил Саша. — Ну почему кинулся к тебе на выручку — это-то, как раз, понятно. А вот как я там оказался? Для чего мне было делать такой круг к вокзалу через водокачку, когда вот он — вокзал-то? Рукой подать, если напрямую, видишь, — показал он в окно и очертил рукой дугу. — А я пошел вот так. Почему?

Пашка затаился в трепетном ожидании чего-то сокровенного, таинственного, и во все глаза смотрел на Александра. А тот в смятенном состоянии человека, соприкоснувшегося с чудом и пережившим его, пытался теперь выразить это в словах. Голос его дрожал от волнения:

— Потому что меня кто-то толкал туда идти. Я хочу идти напрямую, а ноги сами несут в сторону. Вроде и голоса не было, а все слова в ушах, как будто мне там чего-то надо! Значит, Богу нужно так было, и я рад, что все именно так и произошло. Наверное, впервые в жизни я кому-то сделал добро. Дело не в том, Паша, что спас я тебя от побоев. Бывает, что и воры выручают друг друга, сам знаешь. А в том, что я могу свидетельствовать теперь о Нем. Ты — первый, кому я говорю об Иисусе Христе, любящем даже таких людей, как мы с тобой. Отпетых, как нас правильно называют. И боятся, и презирают за дела наши. А вот Он не смотрит на это и уже спас меня. Очередь теперь за тобой. Потому что Он послал меня к тебе. Или тебя ко мне. Верить — нет?

Пашка с готовностью закивал головой. Страстная речь Александра захватила его. В том, что встреча их не

случайна, думал и он. Он всегда был готов слушать о Боге: беда только в том, что он не знал еще Христовой притчи о сеятеле и не мог примерить ее на себя. Как мгновенно он воспламенялся духом, заслышав слово Божье, столь же быстро и остывал, стоило лишь измениться обстоятельствам. Но вот эти дни, проведенные с Александром, все же заставили его глубоко задуматься. Наверное, потому, что на этот раз его поучал не проповедник, образ жизни которого совсем не похож на его воровскую долю. И даже не тетя Даша с ее безграничной, а потому и недостижимой для него добротой, которую он просто не мог вместить. А такой же, как и он, если не похлеще, грешник: вор да еще и наркоман. Да и не поучал он, а просто рассказывал, из какого болота вытащил его Христос. Он и сам-то еще не совсем верил своему счастью, недоумевая порой, как вообще такое могло свершиться. А потому и спешил убедить в этом другого, чтобы еще больше убедить себя.

— Я теперь увидел свет, Паша. Погоди, сейчас вспомню, — на лбу Александра собрались морщинки, он побарабанил пальцами по столу, как бы подгоняя мысли. — Эти слова Христа запали мне в душу с первого раза и навсегда. Да, вот, слушай: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Понимаешь? Если свет, который в нас с тобой, тьма, то какова же тогда тьма, а? — И Александр еще раз повторил последний стих и выразительно

обвел рукой эту полутемную комнату: — Вот как здесь. Попробуй, загляни в себя, Паша!

Удивительно, но Пашка мгновенно понял и на этот раз. Он и раньше слышал эти слова, но, как правило, их просто цитировали, и никто еще не произносил их с таким эмоциональным всплеском. Он прикрыл глаза. И, обладая богатым природным воображением, вдруг ясно ощутил себя в какой-то затхло́й, непроницаемой мгле, в которой на ощупь бредет он, Пашка Балан, и тянет руки к свету. Вот только вызвал тот свет не стремление к вере, а жалость к самому себе: почему так все случилось, что его презирают и сторонятся нормальные люди? Разве для того он родился, чтобы всю жизнь провести в бегах и тюрьмах? Кто виноват во всем этом?

— Я, Паша, завтра еду в Тулу, — продолжал Александр. — Там, в церкви Христовой, крещение буду принимать: специально для меня братья день этот перенесли. Я с ними только что разговаривал по междугородке. Ну, рассказал, что мы с тобой тут намудрили да из-за чего подзадержались малость. Да и мать я давно не проводывал. Поедешь со мной? Там тебе лучше о Христе объяснят, чем это я могу. Поживешь хоть по-людски.

А Пашке уже кто-то услужливо роняет туда, в его мятущуюся душу: «Вот так: поедешь и кончится вся твоя свобода. И уж такая ли тьма, где ты обитаешь? А если все-таки тьма, то как ты в нее попал? Свет светом, а кто первоначальный виновник всех твоих бед? Где был твой Бог, когда тебя лишили отца, а потом подсунули отчима? Кто это сделал? Да как раз те, которые тебя боятся и

презирают. И что — помешал им Бог или наказал их как-то? Не-а. Потому что этим людям несть числа. А таких, как тетя Даша, — раз, два и обчелся! Вот и Саша: он, конечно, мужик что надо, но, видать, надломился по жизни такой, веру в себя потерял. Вот и ищет силу в Христе. Как тот бывший твой школьный дружок, Славка. Вера — это для слабаков! Пойти сейчас за Александром — значит стать подобным Славке. И тогда любой и каждый будет над тобой насмехаться». Одна мысль об этом напрочь заглушила слабо тлеющий там же, в глубине души, фитилек разума: «Пойти с ними, значит похоронить надежду вырваться в ряды богатых, а стало быть, независимых, сильных людей. Вот оно — место под солнцем! А горбом-то много ли заработаешь? Не-е, сначала нужно крепко встать на ноги: сколотить приличный капитал, а завязать с воровскими делами всегда успеется. С деньгами-то оно легко и хорошим стать, а уж тогда можно будет и в Бога уверовать». И точит Пашку червь сомнения.

— По-людски-то — по-людски, Саша, да кто ж мне это позволит? Ты же про полковника Дериглаза тоже слышал? — И, вскинув глаза, увидел, как тот качнул головой и грустно усмехнулся. Вычислил он Пашкины думки. Без всякого сомнения, вычислил.

— Слышал, не слышал — какая разница. Главное: слышать не хочу. Ладно, Паша, шибко скоро я захотел, чтобы ты верой проникся. Сам сорок с лишним лет к Богу шел, а тебя хотел в одно мгновение обратить. А это не под силу никакому человеку. И не только мне. Придет и для тебя время. Я почему это говорю. Вот ты мне о сво-

ей тете Даше рассказал, да? И сам признаешь, что она тебя выходила, от верной смерти спасла. Но и Клим с Федькой вроде как тоже спасли, а? Смотри, Паша, что дальше: тетка та тебе о своей доброте и не помянула ни разу, и дальше только добра желала, так? А сколько ты отработывал за «добро» дружков? И к чему привело тебя их «добро»? Эх, Паша, Паша! Сколько уже ты слышал о Боге и все никак не поймешь, Кто тебя спасает. Но я верю, что достучится до тебя Иисус и ты позволишь Ему войти в твое сердце. Вот тогда и вспомни наш сегодняшний разговор.

— Да я совсем не против Бога, — растерянно пробормотал Пашка. — Но... Ты не обидься, Саша, я спрошу: как воры тебя... ну, ты же у них в почете был... Как они к тебе теперь?

— А-а, вот ты о чем. С воровским ремеслом, Паша, я завязал намного раньше и объявил об этом братве еще в зоне. И тоже, как видишь, ничего страшного не произошло. Свободен я от всех клятв и соблюдения воровского «кодекса чести». На все это была воля Божья. Вот без Него-то у меня бы точно ничего не получилось. Ни свободы, ни освобождения от наркоты. И у тебя также будет, когда примешь Его. С Богом тебе никакой Дериглаз не страшен будет. Это я тебе гарантирую. Ну что, поедешь? Давай, Паша, попробуем вместе новой жизни! От нас не убудет.

— Давай, попробуем.

— Тогда я на почту. Дам телеграмму. Оттуда на работу. У меня сегодня последняя смена. А ты утром будь готов.

Вон там, под койкой, мой чемодан, можешь туда свои пожитки положить. Хотя, — Александр улыбнулся, — у тебя все твое на тебе.

— Да, а голому собраться — только подпоясаться, — засмеялся и Пашка, и закрыл за ним двери в сенях. В комнате уже было темно, и он, сняв стекло, зажег лампу на стене. Потом убавил фитиль и вставил стекло на место. Комната погрузилась в тот таинственный полумрак, который он так любил созерцать. Это всегда наводило его на размышления о смысле жизни. Вот и на этот раз те же мысли, которые только что сеяли в душе его сомнения, немедленно вступили в противоречие с его решением поехать с Александром. И в этом споре каждая сторона приводила свои аргументы, а он поочередно шарахался от одной к другой.

Вдруг какое-то странное беспокойство охватило его. В сенях ему послышался шорох и, хотя он помнил, что закрыл двери на крючок, все же решил проверить. Но не успел шагнуть из комнаты в сени, как страшный удар сшиб его с ног.

И — все. Дальше — сплошной провал памяти.

Глава 13

— Вы кого мне приволокли, обезьяны? — орал чей-то голос. — На хрена он мне тут сдался! Вы что, не могли отличить бугая от козленка?

— Да, темно сильно было, — оправдывался другой голос. — Да и ростом-то он не меньше Шкворня будет. Худой только. А в темноте да спешке как разберешь? Там же старуха какая-то вой подняла. Так бы, может, еще и рассмотрели. А так — сунули в кузов, да и все дела.

— Стару-уха, — зло передразнил первый. — Нет, вы слышали — они старухи испугались! Вот уж жиганы, так жиганы...

— Да ладно тебе, Куцый, — с некоторой обидой сказал кто-то третий. — Достанем тебе и Шкворня.

— Не надо мне никого доставать. Не я вам его заказывал. Вот придет босс, сами с ним и разбирайтесь. Я за вас не в ответе. А этого парня выкиньте куда подальше. Очухается — очухается, а сдохнет — сам виноват. Не будет шарить где попало. Да что ты его так рассматриваешь, думаешь — баба? — Куцый расхохотался, видимо, посчитав это забавной шуткой.

Паша слышал этот разговор, но признаков жизни не оказывал. Никого из говоривших он явно не знал. И где он находится, и как лучше поступить, не знал тоже. Ясно было одно: его спутали с Александром. Чуть приоткрыв глаза, он увидел склонившегося над собой молодого парня. Тот пристально всматривался в его лицо.

— Тю-ю, — сказал парень, — да это же Балан. Век свободы не видать, Балан! Я с ним в малолетке парился. Фартовый парень, я вам скажу. Гли, шевелится. Говорю же — фартовый. Эй, Балан, оживай, пока не схоронили.

Пашка с трудом приподнялся на локоть и всмотрелся в говорившего. Теперь и он вспомнил его.

— Тима... За что ж вы меня так?

— Извини, братан, ты не в том месте оказался, — Тима помог ему сесть на полу. — Надо ж было голос подать, а ты втихаря из хаты высунулся.

— Что ты там делал? — резко спросил другой, как понял Паша, тот самый Куцый. — Хату чистил?

— Ну, чистил, — сориентировался Паша.

— Ты нам, охламон, все карты спутал, — Куцый сам приподнял его с пола. — Придется теперь отработывать. — Он повернулся к Тиме: — Так говоришь, фартовый? Ну, вот и посмотри. Забирайте его с собой, и завтра-послезавтра на дело пойдете. Пойдешь, сказал! — грозно прыцкнул он на заикнувшегося было Пашку. — Не пойдешь — пожалеешь! А то — фартовый. Увидим, каков ты есть. Дайте ему что-нибудь из шмуток Шкворня. Пусть приоденется.

Паша с ужасом увидел чемодан Александра. И заняло тоской сердце: «Все. Это конец. Саша решит, что я его кинул и сбежал. Да за что же это мне, Господи? — И встрепенулся: — Да какой там Господи, какой там Бог, если все прахом...» Разом навалилось на него полное безразличие ко всему происходящему. Его хлопали по плечу, что-то говорили, он что-то отвечал, но в голове вертелась лишь одна мысль: «Как же теперь оправдаться перед Сашей?»

Он пошел куда-то с Тимой и еще одним жиганом. Голова раскальвалась на части, но уже восстанавли-

валась способность анализировать. Для начала нужно выяснить, где он находится и что это за дело, на которое его вынуждают идти. А там видно будет.

...«Дело» было не такое уж и стоящее, но «спалились» они на нем по полной программе. Вся пятерка, кроме успевшего слинять Куцего, поехала отдыхать на нары. Как и полагается, за «паровоза» сошел новичок, и накрутили ему — опять же, как и полагалось по тем временам, — круглый червонец. Однако, Паша сильно радовался приговору: никто не рыл под него и, стало быть, не отрыли его побегу, и сроку не прибавили. Единственное, что тревожило, не нашел бы его в лагере Дериглаз. Но законопатили Пашу так далеко, что об этом можно было не беспокоиться. После почти трех месяцев этапов прибыл он в печально известные лагеря на севере Республики Коми. А это, как сами понимаете, далеко не Ташкент.

...Пройдя ворота, колонна этапников нестройными рядами сгущилась сразу же около первого барака зоны. Двое встречавших офицеров стояли на месте, другие военные медленно обходили строй. Иногда они узнавали кого-то из вновь прибывших и приветствовали их, как добрых старых знакомых. Давненько, мол, не виделись, так что милости просим в наши края. В ответ неслись такие же, незлобные, на первый взгляд, шутки, сопровождавшиеся смехом, и могло показаться, что встретились давние, пусть и не друзья, но хорошие приятели. После пересчета голов весь командный персонал собрался вокруг главного офицера, высокого и плечистого

майора в добротном белом полушубке. Многие ээки, завидев его, тут же зашептались со своими соседями, делясь знаниями о характере «кума». Но как только он поднял руку, гомон сразу же прекратился.

— Ну, что, соколики, приветствую вас в нашем гостеприимном доме. Я вижу, вы немного подзамерзли, поэтому буду краток. Вы прибыли в самое свободное заведение. Здесь вас никто не будет держать насильно. Кто захочет бежать — пожалте. Ну, пробежите вы триста км, осмотритесь и поймете, что нужно пробежать еще два раз по столько же, чтобы увидеть хоть одного человека. И если хватит ума и сил на это, попадете аккурат к Северному Ледовитому океану. Вот там-то вам обязательно встретятся... белые медведи.

Врал, конечно, майор насчет свободы заведения. На что ж тогда колючка в несколько рядов и вышки по периметру. Он еще что-то говорил, но многим из прибывших вся эта песня была давно знакома, и они уже переключили внимание на стоявших поодаль лагерников. Вот от них отделился один здоровенный детина в ладно сидящем на нем новеньком бушлате и подошел к конвоирам. Один из них тут же шепнул что-то на ухо закончившему свою речь майору, и тот, взглянув в сторону ээка, согласно кивнул головой, а сам удалился в направлении штабного барака.

Детина тут же выступил вперед.

— Ворье есть? — зычно крикнул он и вытянул шею, всматриваясь в лица взмахнувших руками. — Выходь сюда, братва. С приехалом!

Так, благодаря вору в законе Григорию Бегемоту, Павел с первого дня прибился к уркам. А уже через неделю, предварительно ободрав «в буру» пару «фрайеров», сел играть с Хорем, блатарем из личного окружения этого самого Бегемота. И совсем неплохо обкарнал и его. Да где там неплохо — дочиста! Но игра чуть не закончилась для него трагически: Хорь, посчитав проигрыш за позор (все-таки Пашка был сопляк против него), несправедливо обвинил его в передергивании карты и выхватил финку. На том бы и закончилась карьера молодого картежника, если бы не сам Бегемот, погодившийся на тот момент аккуратно за спиной Хоря. В итоге проигравший улетел в дальний угол, а Пашка, сославшись на головную боль, благоразумно отказался от игры с другим вызвавшимся сыграть с ним противником. Но отказался достойно, что мне, мол, торопиться некуда, весь срок впереди, так что успею ободрать и тебя. Только, мол, в другой раз. Заодно в качестве «чотора» вернул он Хорю весомую часть выигрыша и улестил подарком Бегемота. Этим самым он быстро вошел в число его приближенных, избежав хоть и непыльной, но малопочтенной участи «шестерки». И уже со следующих выигрышей никому дарственных не делал: все шло «в общаг», которым заведовал, конечно же, Гришка. Им же Пашка был «освобожден» от работы на лесоповале, и если когда появлялся там, то только вместе с Бегемотом для каких-нибудь разборок. Проценты, однако, за работу получал достаточно высокие, чтобы получать полновесную пайку. Которую, кстати сказать, почти всегда отдавал кому-нибудь

из «мужиков», то есть настоящих работяг. Потому-то и приобрел среди «мужиков» какой-никакой авторитет. Во всяком случае сильно на него они не косились.

С началом войны положение в лагерях ухудшилось. В том числе и для блатных. Теперь, чтобы не заработать карцера или «бура», приходилось выходить на работу. Однако это не означало, что такие урки, как Бегемот и его окружение, стали работать. Если когда и выходили они на работу, то весь день просиживали у костра, а «мужики» так и продолжали их обрабатывать. Сам же Гришка и вовсе не появлялся на делянах.

Однажды, забежав в столовую к концу ужина, чтобы передать «придурне» наказ Бегемота, Пашка лицом к лицу столкнулся с каким-то замухрышным зэком. Тот, стоя, жадно слизывал с миски остатки студенистой каши: кто-то посылтей великодушно разрешил ему полакомиться объедками. Зэк посторонился, опасливо укрывая тарелку от Пашки, видимо, посчитал его за соперника. Но стоило Пашке взглянуть на него, как он втянул голову в плечи и шустро прошмыгнул к дальним столам. Балан прошел шага два и остановился, как вкопанный. Отчим! Не может быть! Он круто обернулся и увидел, как тот стоит у другого края стола в надежде получить еще одно подношение.

Значит, не узнал пасынка? Да где уже такому что-то узнавать! Это был доходяга, «фитиль», которых в зоне уже никто не считает за людей. И редко кто их жалеет. Да, от лощеного того барыги, постукивающего кнутом по сапогам, — таким он остался в памяти Пашки — не

осталось и следа. О, какой только казни не достаивал пасынок отчима в своих детских и юношеских мечтах?!

С каким сладострастием он четвертовал его, жег, подвешивал, топил, невзирая на мольбы о пощаде! Все это повторялось бесконечное множество раз. Потом поутихло: что было, то быльем поросло. И лишь изредка просыпалось то мстительное чувство: эх, встретился бы он мне теперь! Ну, вот, встретился — и что? Ко вспыхнувшему на мгновение чувству ненависти тут же примешалась и досада: встретить-то встретил, а мстить некому. Ну, не мстить же в самом деле нулю! Это ж себе дорожке будет. Только уронишь себя в глазах «общества».

И всколыхнулся разум, и пришли на память поразившие однажды своим смыслом слова, не раз и не два слышанные им от тети Даши: «Не мстите за себя, возлюбленные! Отдайте суд Богу!» Ну что ж, может, оно и к лучшему: не придется руки марать. Не сегодня-завтра отчим крикнет сам, без посторонней помощи.

Все, что испытывал Пашка теперь к доходяге и чего тот заслуживал, — это брезгливость. Но, может быть, сподобится он сообщить что-нибудь о матери?

— Эй, фитиль! — окликнул Пашка. — Требка! Подь сюда!

Отчим пригнулся от грозного окрика и, затравленно озираясь, приблизился к нему. В его выцветших глазах — готовность к унижению.

— Я, што ли? — переспросил подобострастно.

— Не узнаешь? — спросил Пашка и тут же пожалел, что спросил. Как может человек кого-то узнать, если

забыл даже собственную фамилию?! Да и растерял он уже все человеческое. Но существует один способ, который способен врачивать память. И Паша хорошо знал этот способ.

— Слышь, Мамед, — склонился он к амбразуре раздачи, — насыпь там в миску моему родственнику.

— Это кито — твой ротстеник? — высунулся на полкорпуса удивленный хлеборез. — Э тот? Ти что, Балан! Гонишь, да-а?

— Насыпь, насыпь, говорю, — повторил Паша и пошутил: — За мной запишешь. — Взяв миску с кашей, он протянул ее отчиму: — На, бери, Петя Требко, твоя.

Все, кто еще оставался в столовой, замерли в ожидании хохмы. Было ясно, что Балан что-то отчебучит сейчас с фитилем. Понимал это и сам фитиль, но желанная каша так манила его, что он хоть и робко, но все же потянулся рукой. Но в последний момент, будто обжегшись, резко ее отдернул и глазами, полными ужаса, уставился на Пашку. Узнал отчим Пашу, каким-то шестым чувством узнал. Скорей всего вид той дармовой каши и обострил это чувство, и освежил память.

— Пашка, — упавшим голосом выдохнул Петр. Ноги его подогнулись и он заелозил на коленях к бывшему пасынку. — Паша, прости... не убивай...

Значит, знал, на что способен этот молодой вор. Вернее, знал, за что он на это способен. Но та соломинка, за которую хватается утопающий, удержала бедолагу на мгновение на поверхности разума и подсказала спаси-

тельный, беспроигрышный ход: — Мать там... Ждет тебя — не дождется.

Все перевернулось внутри Балана. И чтобы не выдать слезливого волнения — сколько пар глаз устремилось на него в ожидании развязки, — тихо, но внятно прошипел:

— Встань, паскуда! — И поскольку отчим не двинулся, слегка толкнул его ногой: — Ну! — И совсем уже свирепо: — Вставай, если жить хочешь!

Приподнялся на трясущиеся ноги Петр, блуждая безумным, невидящим взглядом, и вдруг ощутил в руках своих ту вожделенную миску с кашей. И теперь уже никакая сила не смогла бы ее отнять у него. Теперь главное — успеть сожрать кашу, а там пусть бьют, пусть убьют — сытому не страшно. Лишь бы успеть, пока не отобрали и не размазали по морде. И судорожно запихивая кашу в рот пятерней, услышал голос Пашки:

— Иди в барак, я найду тебя. — И обращение вроде как ни к кому и в то же время ко всем: — Кто тронет фитиля, будет иметь дело со мной. Это мой отчим. Всем понятно?

Ну, так что ж непонятного: ясно, что подфартило доходяге. Может, и выживет теперь при таком-то пасынке.

Не выжил. Той же ночью окочурился, подавившись хлебной коркой. И никто в том невиноватый: зря Пашка ему вечером за хорошие вести о матери целую почти булку презентовал. Втихую так сунул под тюфяк и предупредил, что больше тот не скоро получит. Так что растя-

гивай, мол, удовольствие. Да разве ж удержишься при таком-то изобилии! И отчим, прячась от постороннего глаза, жрал хлеб на шконке ночью, накрывшись бушлатом. Вот и некому было постучать по спине, когда подавился. А утром на подъеме не порядок: не встает зэк на работу. Сбросил надзиратель бушлат с нарушителя, а у него везде хлеб. И в руках, и на тюфяке, и рот полный. Ну, он и диагноз тут же поставил, что, мол, сгубила жадность фрайера, так туда ему и дорога. Никто о нем больше и не вспомнил. А Пашка, тот и вовсе обрадовался: главное, Петр успел сообщить, что мать жива и здорова. Во всяком случае, так было года два назад, когда его арестовали. Незадолго до войны дело было. Но мать не тронули. Бедствовать они с сыном не будут, потому что он, отчим, то есть, оставил им надежную заначку. А звать того сына, Пашиного сродного братца, Василий. Хоть и случилось это года два назад, но Пашка почему-то был теперь уверен, что встретится еще с матерью. И злая обида на сродника, которого даже не видел, после смерти отчима ушла куда-то сама собой. Как и не было вовсе того зла. Ну, так ведь брат как-никак.

А дела в лагере у братвы ухудшались. Все чаще не повиновались «мужики», отказываясь тянуть лямку за блатных. Да и среди самих блатарей все больше намечался раскол. Некоторые уже перестали подчиняться Бегемоту и, чтобы не зависеть от «элиты», сами шли на престижные должности, в «придурки» (на кухню, в бригады, в десятники), что по воровскому закону считалось недопустимым. Уже тогда нет-нет да и шли в ход ножич-

ки. А тут агитация идти на фронт пошла и среди воров, и кое-кто из них уже соглашался на это. Дело в том, что советские войска перешли в решительное контрнаступление и гнали врага уже от своих границ. Победа была настолько очевидна, что у многих воров (в основном это были те, у кого сроки были «на всю катушку») появился соблазн не только освободиться под чистую, но еще и прорваться в Европу. А там, глядишь, и поднажиться будет не грех.

Было такое предложение и Пашке, но он решил блюсти воровскую честь. Однако после того, как узнал о матери, заметался и он, и Григорий это подметил. Подметил и решил привязать парня. На очередной игре в карты Балана схватили за руку на шулерском приеме. Причем за руку буквально. Разоблачение произошло не без помощи Бегемота: только он знал, когда Пашка скидывает карту в рукав и когда достает. Пашка это понял, но легче от этого не стало. Бегемот хоть и не дал расправиться с ним «по понятиям», но велел «искупить» вину простеньким таким убийством. Появился, мол, среди «мужиков» один умник, который сильно мутит воду, настраивая их не поддаваться уркаганам: так вот убрать бы надо.

— Да я его и так, «без мокрухи», шелковым сделаю, — попробовал выкрутиться Пашка, оставшись один на один с Бегемотом.

— Делай, что тебе говорят, — отрезал тот. — Я кое-как для тебя три дня выпросил. Столько тебе братва дала для присмотра. Не сделаешь — я тебе не заступник боле.

Взбунтовался Пашка, но не подал виду. «Сам подстроил, а корчит из себя благодетеля!» Всегда по жизни подобный диктат вызывал в нем реакцию, прямо противоположную той, какой от него ожидали. Ошибся Бегемот, думая, что зашугал парня. С этого момента уже знал Паша, что не тронет того «мужика». Видел он его и точно знал, что никого тот не настраивал: ни за, ни против. Тише воды, ниже травы зэк. И конечно же, никому не мешает. Исполни Пашка наказ Бегемота — и быть ему у Гришки рабом на всю оставшуюся жизнь. Безгласным рабом.

И надо же было такому случиться, что этим же вечером тот зэк сам к нему подошел. Разыскал в бараке и присел на краешек нижней шконки. Простоватое, без хитринки, деревенское лицо мужика располагало к нему.

— Ты — Балан Павел? — спросил он.

Пашке даже не по себе стало.

— «На ловца и зверь бежит», — некстати и не к настроению промелькнуло в уме.

— Ну, я, — кивнул он. — А ты, стало быть, Иван Чадов?

— Ага, — удивленно-радостно вскинул брови гость. — Откуда ты...

— Да уж знаю, — надменно перебил Пашка готовящиеся расспросы Ивана. Лестно ведь слышать бедолаге, что о нем знает такой авторитет.

— Ну и ладно, — погасил улыбку Иван и понизил голос: — А я к тебе по делу.

Пашка так весь и подобрался:

– Дела у прокурора. У нас работа. А у тебя что?

– Саша тебе привет передает.

– Какой еще Саша? – совсем уже насторожился

Балан.

– Александр. Шкворнев Александр. Кличка еще у него раньше была такая – Шкворень. Ну, у которого ты на станции жил, помнишь?

Так и дернулся встать Пашка, но только ухватил Ивана за руку.

– Саша? Где он? – взволнованно воскликнул он.

– Я был уверен, что ты обрадуешься, – довольно хмыкнул гость. – Он дома. Пока – дома. Никто из верующих в Бога сейчас не может сказать, где будет через день. Он молится за тебя, Павел. Долгое время-то думал, что убили тебя из-за него и переживал из-за этого сильно. А ты, значит, выжил.

– Так он... – Пашка от волнения даже стал заикаться, – так он не думает... ну, это... что я его кинул? Чемодан-то его они увели.

– Да не-ет, – видно было, что Иван не понял, о чем речь. – Какой там чемодан, если соседка-старуха все видела и рассказала, что тебя мертвого в машину погрузили и увезли. Она-то их и спугнула криком своим.

Только теперь Пашка вспомнил, как Тима оправдывался перед Куцым, что, мол, старуха им помешала. Это ж Лукерья! Идиот! Почему же он тогда не понял, что она может выгородить его перед Сашей? Столько лет изводил себя, боялся, что он обвинит его в подлой краже. И вот оказалось – совершенно напрасно. Паша почув-

ствовал, просто физически ощутил, как освобождается от какого-то тяжелого груза, и по всему телу его разливается приятная истома.

«Саша, Саша, как это здорово, что ты не считаешь меня подонком, — и тут же спохватился: — Как же этот Ваня решился подойти ко мне? Неужели прознал от кого?»

— Я долго присматривался, прежде чем решился подойти, — как бы отвечая на этот вопрос, продолжал Иван. — Но вот увидел тебя с отчимом сначала в столовой, потом случайно подсмотрел, как ты ему в бараке хлеб сунул, и все, о чем Саша рассказывал, подтвердилось. Я тогда понял, что он не ошибся в тебе. Не может человек, способный делать добро, а значит, и добрый от природы, быть в то же время подлым и злым. Ты ведь, Павел, наверное, сам того не зная, сразу две Божьи заповеди исполнил.

— Какие еще заповеди? — встрепенулся Паша.

— Первая: «Раздели с голодным хлеб твой». Ты хоть и не свой, но поделил с отчимом, который, как Саша рассказывал, причинил тебе предостаточно зла. А в этом и есть вторая заповедь: «Никому не воздавайте злом за зло».

— А, заповеди, — махнул рукой Балан. — Пожалел я его, это да, а что из этого жалья вышло? Подавился он этой жалостью. Вот и выходит, что хоть и не хотел уже, а все равно убил.

— Это другой разговор, Павел. Бог это допустил, и не нам об этом судить. Пути Господни неисповедимы.

«Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем», — говорит нам Бог.

То есть, всех слабых жалейте. На тот момент твой отчим был больше, чем слабым. И значит, все ты правильно сделал. Но вот задуматься о том, как ты сейчас живешь, — это тебе надо. Негоже ведь отбирать хлеб у всех слабых, а не по выбору: у того, вон, можно, у этого не надо. Как ты на это смотришь?

«Э-э, брат, да ты только на первый взгляд лапоть лаптем. Бегемот-то не зря тебя заопасался», — изумился Пашка. И сразу же торкнулась в голову шальная мысль, которую он не преминул озвучить.

— Я понял, Чадов, о чем ты. Но видишь ли, меня-то еще можно убедить, а вот ты попробуй проделать это с Гришкой. Не слабо будет?

— А ты сведи меня с ним, — снова огорошил его Иван. — К нему же, как к куму, не пробьешься. Вот и поспособствуй!

Он сказал это так обыденно, что Пашка вдруг понял: у этого тихони никакого страха перед Бегемотом! Или не знает, чем это для него может обернуться? В любом случае, он заужал зэка.

— Мы с тобой как-нибудь в другой раз обговорим это дело. А пока я бы не советовал тебе к нему соваться, — покачал он головой.

— Ты за меня не бойся, Павел, — уловил его сомнения Чадов. — Хуже того, что есть, уже не будет ничего. Помоги встретиться с Бегемотом.

Он смотрел Пашке прямо в глаза, и тот решил:

– Слушай меня внимательно, друг Ваня. Щас ты перестанешь так думать, потому что бояться есть чего. Мне заказали тебя, понял?

Иван чуть выпрямился и сглотнул слюну. Немного помедлил:

– Вот оно как. Ну, и что ты?

– А разве непонятно, что? – облизнул пересохшие губы Пашка и глухо продолжил: – Пока не отказался. Думал, с тобой переговорить, да ты сам меня нашел. Вот и переговорили. Теперь слушай: завтра к вечеру меня уже тут не будет. Завтра этап: кое-кого из урок отправят на фронт. Уйду и я с ними. Я так решил. А Бегемоту скажу, чтобы тебя не трогал. И он не тронет. Есть у меня в записке аргумент. Если бы я остался здесь, он бы и меня заказал. А меня нету, он бояться будет тебя тронуть. Это ему мое условие будет, понял? И не лезь ты, Ваня, на рожон, целее будешь. До Бога далеко, а Бегемот вот он, рядом. – Паша зашептал: – И еще – напиши Саше, что все, мол, у меня в ажуре. После войны найду я его. И тебя найду. Только вы останьтесь живы. Я-то выживу. Ну, давай, Ваня... это... с Богом.

– С Богом, Паша. И не ходи к Бегемоту, не беспокойся за меня. Бог не где-то далеко, а в тебе самом. Так же, как и во мне. Только попроси, чтобы Он открылся тебе, и Он сохранит тебя. С Богом, Паша.

Всю ночь проворочался Пашка, обуреваемый всякого рода сомнениями: «Как так получилось, что именно тот человек, которого мне приказали убить, принес такую

желанную весть? О Саше, о Боге, о самом Пашке, который, как оказалось, исполнил заповеди Божьи! Неужели, и правда, Бог послал его ко мне? Как жить дальше? Знать — не знаю, но просить Бога сохранить жизнь на фронте буду. Не помешает». Вот такой вот нехитрый вывод.

Утром он с двумя значительными урками, подписавшимися ехать на фронт и бывшими последнее время в «контрах» с Бегемотом, явился пред его очи и обсказал то, о чем обещал Ивану.

Эти урки Гришку не боялись, скорее, наоборот, он их побаивался, а потому и беседа прошла при полном согласии сторон: мы тебе не мешаем, но и ты окороти свой норов. В общем, ладно все вышло, по-людски. А вскоре после завтрака выстроили приехавшие краснопогонники «добровольцев», и под нестройное духовое сопровождение и гробовое молчание эсков двинулись они к воротам зоны, за которыми уже поджидали их машины и новая, никем из них не изведенная фронтовая жизнь, которая для многих обернулась суцим адом.

Долгие годы про участие уголовников в боевых действиях нельзя было даже упоминать, но теперь написано уже много. И, по общему признанию, воевали блатные отчаянно, не щадя живота своего.

Глава 14

Обдурил отчим Пашку, как есть, обдурил. Да, в общем-то этого и следовало ожидать. Попробуй он в той ситуации правду пасынку о его матери рассказать, загодя бы отправился на тот свет, не успев и хлеба откусать. А правда была в том, что догадался он вступить в партию. И произошло это, как ни парадоксально оно звучит, с Пашкиной легкой руки. Именно после того, как он «обчистил» отчима, того приняли в эту партию, как честного человека, пострадавшего от рук преступного мира. Быстро он после этого дослужился в своей заготконторе до большого чина. Потом и вовсе по партийной линии пошел. Шибко тогда загордился мужик и еще задолго до своего ареста выгнал свою жену из дому. Вместе с сыном Васькой выгнал. И ютилась она с ним как раз у тети Даши. Потому-то и не тронули ее, когда арестовали Петра с его новой, молодой, жинкой. Так что хоть к одному доброму делу отчим имел касательство: не расстанься с ним мать — упекли бы и ее в каталажку, как сделали это с его молодичей. Раз жена, то и сообщница, а как же! Кому уж он там дорогу перешел, неведомо, но врагом народа его признали. И осудили скорехонько. А мать Пашкина уже после этого, аккурат перед самой войной, успела с тетей Дашей и еще какими-то верующими уехать куда-то в Казахстан. А куда именно — неизвестно.

Примерно так рассказала демобилизованному Павлу соседка тети Даши, куда он пришел после того как не обнаружил на месте свой дом. Даже бывшие его детские

«апартаменты» на пустыре сохранились, а вот от дома остались одни головешки. Да там вся округа была разбомблена.

Дом тети Даши тоже был нежилой: он одряхлел, весь покосился, внутри пахло плесенью, доски в полу сгнили и провалились. Он уже собрался уходить, как погодились вот эта сердобольная соседка-старушка (он знал ее раньше) и зазвала к себе, и поведала ему эту неприятную историю. Заодно рассказала баба Шура, что ее дочь с внуком тоже в этом Казахстане живут.

— Че-то ни слуху ни духу от них. Вернулся ли зять с фронта, нет ли — ничего не знаю. Да нет, если бы вернулся, то наперво сюда бы заехал. Казахстан-то этот подале будет. Наверное, за Харьков еще. Ты, соколик, если поедешь в тот край, может, зайдешь и к моим; обсудишь, как и че, а? — с надеждой взглянула она на Павла и вытерла глаза уголком фартука.

Как мог, подбодрил Паша старушку. Не стал разочаровывать ее, что не совсем это рядом, и Казахстан — это не какое-то село, как она себе представляла, а целая республика. В ее-то понятии все, что было за пределами города, находилось в одной стороне и в одном месте. А уж дальше Харькова и подавно не больше одного-двух населенных пунктов. За всю жизнь она нигде дальше окраинных сел не была. Здесь родилась, здесь выросла и состарилась. Оттого и от немца не побежала. Куда бежать? Тут ее родина. Тут и освободителей дождалась, а вот дети что-то не торопятся вернуться.

— А то остался бы тут, Паша? — предложила она. — Пожил бы пока у меня, Дашкин дом подремонтировал. Глядишь, они сами и подъедут.

Паша воспользовался гостеприимством и пожил у нее несколько дней. Никаким ремонтом он, конечно, не занялся, а только неприкаянно бродил по городу. Каждую ночь слышал он, как горячо молилась баба Шура на иконку в углу и просила Богородицу о своих детях. И не то чтобы против воли, а с затаенной, чуть тлеющей в душе надеждой ждал, что вдруг да сбудется старушке ее последнее желание. И нетерпеливо подстегивал время: вдруг да сбудется. Тогда и он, Пашка, будет молить за своих. Так же горячо будет просить Бога. Но дни шли, а все оставалось, как было. Не было бабе Шуре ответа на молитвы, а значит, надеяться надо на себя и приниматься за поиски самому.

Он выхлопотал через комендатуру сухой паек и проезд до столицы Казахстана: осталось только забрать рюкзак и попрощаться со старушкой. Еще у прясла он услышал ее причитанья и успокаивающие ее голоса.

— Пришла беда — отворяй ворота, — горько вздохнул Пашка. — Вот и домолилась.

Прощаться расхотелось. Чем теперь утетишь бедную старушку? Что не только у нее горе? Сильная досада на всех и на вся сдавила сердце, и если бы не вещи в солдатском рюкзаке, тут же развернулся бы он в сторону вокзала. Выглядел он, наверное, мрачнее тучи, потому что выбежавший в это время из дому пацан лет семи-восьми испуганно юркнул обратно в двери.

— Мама, бабушка, там какой-то дядька-солдат злой идет.

— Ой, это же мой Паша, — расслышал Пашка радостный голос бабы Шуры. — Да какой же он тебе злой, Сергунька. Он добрый. Таня, подсоби.

Поддерживаемая статной молодой женщиной, она тут же появилась навстречу Пашке. Каждая ее морщинка светилась неземным счастьем:

— Паша, смотри, вернулись мои! Ой, у тебя случилось что?

Он, и правда, не успел еще отойти от охватившей досады и растерялся от такого неожиданного оборота:

— А я слышу твой причет, так думал... — теперь хмурое лицо его постепенно расплывалось в улыбке.

— Да это я, дура, от счастья, — баба Шура взяла его за руку. — Пойдем, пойдем в избу... — И не переставала повторять: — От счастья это. Вымолила у Богородицы детушек своих. Вон, вишь, внучек-то уже какой! Он тебя испужался, Паш. Ох, и дурачок. Ну, че за мамку прячешься? Таня, поговорите с Пашей, я стол накрою...

Через некоторое время и Таня, и сын ее Сергунька уже считали Пашку своим человеком. Баба Шура теперь успокоилась и, подперев кулачком щеку, только переводила взгляд с одного на другого, не вступая в разговор.

Пашка искренне радовался за старушку, но где-то в глубине души уже возникло и все больше разрасталось тоскливое чувство одиночества. И все больше росла решимость искать свою мать.

Баба Шура словно услышала его мысли:

— Уж который раз говорю: оставался бы ты, Паша, здесь. Вот уедешь, а они, мать-то твоя с Дашей да Васькой, возьмут да возвратятся сюда. Вот и разбредетесь опять.

— Нет, мама, — задумчиво сказала Таня. — Скорого возвращения не будет. Если бы мой муж не приехал за нами, вряд ли и мы вернулись так скоро. А пожилым людям да еще без денег оттуда трудно будет добраться. Но ждать, конечно, надо здесь. Вот если бы был адрес — тогда другое дело. Казахстан — огромный, необъятный край и искать там человека, не зная адреса, все равно, что искать иголку в стогу сена.

— А я и говорю, — поддакнула баба Шура. — Она вдруг внимательно всмотрелась в Пашку, словно впервые его увидела: — Правду мать твоя говорила, что твой сродный братик — твоя копия. Значит, счастливый будет, как и ты.

— Кто — я счастливый? — поперхнулся «счастливчик». — Вот уж не знал, не ведал. Это кто так думает?

— Это по примете такой. Когда сын на мать похож. Значит, найдетесь вы, Паша. Помню, Даша мне все из Библии читала. Забыла маленько, но вот так, что, мол, просите — и Бог услышит и исполнит просьбы ваши. А если искать будете, то поможет найти. Вот я просила, и Он услышал.

Память моментально выхватила этот стих, который Пашка слышал не только от тети Даши, но еще раньше и от Славика. Любили повторять эти слова и зэки, особенно, когда зло высмеивали верующих собратьев по

зоне. О, тут уж блатные злорадствовали от души, варьируя стихи и выворачивая их наизнанку. И вот теперь они наполнились для него новым содержанием. Новым, взволновавшим до глубины души смыслом. И к вящему удивлению бабы Шуры и Тани, он, глядя прямо перед собой, медленно, выверяя каждое слово, прочел эти стихи на память:

«Просите — и дано будет вам; ищите — и найдете; стучите — и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

Слова подстегнули его и придали решительности и уверенности. «Ищите — и найдете!» «Найду? — переспрашивал Пашка и слышал в ответ: — Непременно! Баба Шура молилась и нашла. Ты обещал последовать ее примеру. Дерзай!»

К вечеру, окрыленный надеждой, он распрощался с гостеприимным домом, пообещав писать. На случай, если все же мать вернется сюда...

Чем дальше уходил поезд в глубь страны, тем разнообразнее становилась публика в вагонах. Пассажирами теперь уже были не только и не столько солдаты, как его попутчик сержант Андрей, сколько гражданские лица всех сословий и национальностей. И хотя вагоны уже не столь многолюдны, но все равно нечистым на руку есть где поживиться. О, кого тут только не было! Вот через весь вагон цыган с цыганкой тащут свою разнокалиберную черноголовую ораву, и все пространство заполняется несусветным криком и перебранкой между ними и пассажирами, кои поспешно прячут все, что у них есть. Толь-

ко-только успокоились от цыган, а вагон уже наполняется душещипательной песней, которую горланит под гармошку пьяный попрошайка в солдатской гимнастерке. Песня о бойце, потерявшем ноги в бою, и бессердечной его невесте, которая по этой причине отказалась от калеки. Сам он: то ли без ног, то ли поджав их (поди, разбери под его барахлом), сидит на деревянной тележке с роликами, и когда заканчивает играть, протягивает руку с фуражкой для подаяния и жалобно канючит: «Подайте инвалиду, герою войны; подайте ради Христа!» По проходу его катит не очень опрятная видом женщина, но ему подают. Подают ему и Пашка с Андреем, хотя из-за несоответствия фуражки и погон прекрасно понимают, что никакой это не фронтовик. И ноги, если и, правда, потерял, то скорее всего по пьяной лавочке. Следом появляется какой-то пронырливый тип, бесцеремонно кладет на каждый столик набор открыток с запиской и сразу уходит в другой вагон. В записке: «Я глухонемой, и мне нужно лечиться. Купите открытки. Вам это ничего не стоит, а мне не дадите помереть с голоду.» На открытках, в разных углах, счастливые, улыбающиеся лица дамы и джентльмена, обязательный летящий голубь и надписи типа: «Лети с приветом, вернись с ответом» или «Люби меня, как я тебя». Пассажиры, особенно молодые сентиментальные девушки, с удовольствием рассматривают открытки и на вопрос о цене вернувшийся глухонемой молча кладет бумажку с цифрами: столько-то. Цена вполне сходная — сущий пустяк, — и люди покупают. Ах, как это все Пашке знакомо. Он-то прекрасно знает,

сколько зарабатывает такой «глухонемой». Столько, что сердобольным пассажирам и не снилось. Этих открыток у него «вагон и маленькая тележка». А если ему подмигнуть, то выудит он из своих бездонных карманов не только такие вот открытки с благонаравным идиллическим сюжетом, но и порнуху. Там, правда, цена уже солидная — там риск потому что. Но для этого риска у каждого «глухонемого» есть «группа поддержки» в составе одного-двух крепких парней. А то и больше. И следуют они за ним незаметно для глаза чуть в отдалении. Пашка в свое время имел «счастье» ознакомиться с такой группой, когда решил «казачнуть» их продавца. Еле ноги тогда унес. Ну, то по неопытности еще было, потом-то он осознал ошибку и не раз облегчал их «навар» уже не воровскими, а шулерскими методами. То есть, обыгрывал в карты, до которых они — ну, все поголовно! — ши-ибко охочие.

А вот по проходу два конвоира ведут попавшегося воришку или мошенника, и у Пашки сразу же тоскливо заняло сердце. От памятных тех дней заняло, когда чудом избежал он самого страшного в своей юности: попасть в списки «тихушников». Его и сейчас передернуло от одной только мысли, чем это могло закончиться. Даже от воспоминаний самых страшных боевых эпизодов так не содрогался он, как от этой приснопамятной минуты: полковник Дериглаз и бумага, которую должен Пашка подписать. И в который уж раз он в недоумении, ставшем прямо-таки наваждением, спрашивал себя: «Как могло состояться то чудо? На фронте я выжил — это по-

нятно. Там Бог уберег меня, потому что я делал доброе дело: защищал страну от врага. Да еще и сам поминутно просил Его об этом. Но преступнику-то, воришке, каким я был тогда, разве стал бы Бог помогать? Да ну, с чего бы это? Тогда кто?» — Сколько раз он задумывался над этим вопросом и, не находя ответа, старался отмахнуться от настойчивых мыслей, заглушить их, упрятать куда подальше, чтобы не бередить душу. Но сомнения не проходили, наоборот, все усиливались.

«А что молиться, так ведь все молились, даже командир наш перед атакой всегда крестился. Наспех так, украдкой. Он, капитан Грапов, воевал еще в гражданскую и тоже из бывших эков был, но даже особистам спуску не давал: за каждого своего солдата стоял горой и никого не боялся. И в бою, в отличие от тех, кто на него доносил, за спины парней никогда не прятался. Любили его за это солдаты. Насколько же он лучше всех нас был, а наша его пуля. Так вот как тут рассудить?» — Пашка тяжело вздохнул от неразрешимости вопроса и поставил точку в сомнениях вроде как присловьем, расхожим на все времена: Богу, мол, виднее! Даже не подозревая, что это и есть та самая, что ни на есть, истина.

В такие моменты он всегда вспоминал тетю Дашу и ее неизменное: «Полагайся во всем на Бога, Пашенька. Только Он знает, что будет впереди и что для тебя правильно». Вспомнил и сейчас и закралась в душу мысль, приятная ему: «А может, знал Он наперед, что я пойду воевать (а это ведь с какой стороны ни посмотри, доброе дело) потому и уберег меня от Дериглаза. Значит, нужно

делать добро — и Бог будет на твоей стороне» — сделал он окончательный вывод и даже плечи расправил: настолько все просто и верно оказалось. Повеселел Пашка и решил прогуляться по вагонам: себя показать и на людей посмотреть. В окно-то глазеть надоело: там глазу не на чем остановиться. Который уже час за окном один и тот же тусклый и скучный своим однообразием пейзаж. Впору «Степь да степь кругом, путь далек лежит» запевать. Одно слово — Казахстан. А путь солдату, и правда, лежит неблизкий. Такой, что весь на полке не пролежишь. Андрей идти с ним отказался, и Пашка пошел один.

Перед самым тамбуром на него налетел и чуть не сбил с ног крепкий хлопец, один из тех, кого он заприметил в сопровождении у «глухонемого».

— А, служба, извиняй, — мельком взглянул паренек на Пашку, и тот увидел в его глазах неподдельную радость.

«Кого-то хорошо нагрели, — безошибочно определил он. — Вон радости-то — полные штаны!»

Пашка постоял в тамбуре с солдатами, пригласившими его покурить с ними, и хоть он и не курил, но с удовольствием обменялся новостями, послушал их надежды на будущее, потом продолжил прогулку. Вагона через два был общий вагон, и его цепкий взгляд выхватил из группы сидящих на лавке женщин забившуюся в угол у окна молоденькую девушку в старенькой цветастой косынке. По какой-то причине она тоже взбросила на него глаза, и даже этого мимолетного взгляда хватило, чтобы сердце

его гулко забилося. Не оттого, что была она очень миловидной, но по той неизбежной грусти, которую он прочитал в этом взгляде. Задержавшись лишь на мгновение, он машинально прошел дальше, лихорадочно вспоминая, где он мог видеть эту девушку. В том, что он ее видел, он был уверен. Не так-то и много девушек знал он на своем коротком еще веку, чтобы перебирать их в памяти. Две-три от силы, но вот эти огромные синие глаза... Вагон сильно качнуло, Пашка не удержался и с размаху плюхнулся на нижнюю полку рядом с какой-то женщиной. Напротив нее маленькая девочка мирно играла со своей куклой.

Сконфузившись за такую свою неловкость, Пашка извинился перед мамашей и, чтобы как-то скрасить эту неловкость, сделал девочке комплимент:

— Какая у тебя красивая кукла. Как ее зовут?

— Леся, — важно надула губки девочка. — Класавица Леся.

Олеся! Имя молнией сверкнуло в мозгу, и память выхватила из своих запасников больничную палату и крик-просьбу той девочки: «Паша, ты только жди, я обязательно приду!»

Он со всех ног бросился назад.

Девушка все также продолжала сидеть в углу у столика, отрешенно глядя прямо перед собой. Лавка напротив была свободна, и Паша сел у окна, не сводя с нее глаз. Да, без сомнения, это была она. И она понимала, что какой-то солдат бесцеремонно пялит на нее глаза и, как бы ища защиты, потянулась рукой к сидевшей рядом с ней

изможденного вида седой-преседой бабуле. Та только нежно погладила ее по руке и вопросительно посмотрела на солдата:

— Вы что-то хотели, молодой человек? — таких интонаций Пашка сроду не слышал, а голос был до того певучий, приятный и располагающий, что его возбуждение немного улеглось. Тем не менее голос его дрогнул:

— Олеся, ты меня не помнишь? — чуть склонился он над столиком.

Девушка резко выпрямилась и внимательно вгляделась в него. Она, может быть, все еще думала, что это такой способ бравого солдата познакомиться с ней, но сам взволнованный вид его и вибрация голоса подсказывали что-то другое.

— Палата в больнице, медсестра тетя Валя, твои фрукты, сладости и... бедный пацан за перегородкой, который...

— Паша, — вскрикнула Олеся и, позабыв, что она уже взрослая девушка, с детской непосредственностью кинулась к нему и обняла за шею. — Мама, мама, это Паша, о котором я тебе рассказывала, — повторяла она, насколько не стесняясь своей радости.

— Я вижу, вижу, доченька, — с доброй улыбкой качала та головой.

А Пашка растерялся. Он не знал, как себя вести в этой ситуации. Конечно, он был безмерно счастлив, и ему хотелось выражать свои чувства точно таким же образом. Но, во-первых, он никогда еще не проявлял их в такой мере, а во-вторых, впервые в жизни ему искренне

кто-то радовался. Он осторожно прикасался к ней, и ... в глазах его стояли слезы. Олеся усадила его рядом с собой и точно так же, как в тот первый день их знакомства, засыпала своими вопросами. Не успевал Павел ответить на один, как уже следовал другой. Бабушка, оказавшаяся ее матерью, с улыбкой наблюдала за ней, изредка поглядывая на ее друга детства.

— Леся, дай человеку передохнуть, — мягко укорила она дочку. — Ты же не даешь ему рта раскрыть. Так он тебе ничего не сможет рассказать.

— Ой, и правда, — спохватилась Олеся. — Давай, рассказывай.

— Нет-нет, я уже все рассказал, — запротестовал Пашка. — Теперь твоя очередь. Вы куда сейчас?

Олеся посмотрела на мать.

— Мы куда, мама? — переспросила она. — Мы же... как это... — и вдруг замолчала. На противоположную лавку вернулись две женщины, и было ясно, что она не станет при них говорить. Зато заговорила одна из пришедших. Тетечка была явно без комплексов.

— Вот теперь еще и солдат, — ворчливо произнесла она. — Мало тебя обдурили, а все нейметя.

Пашка недоуменно взглянул на Олесю, и она покраснела от смущения.

— Это ее друг детства, уважаемая Зоя Федоровна, — вступилась мама за дочь. — А то были совсем незнакомые парни.

— Друг, не друг — какая разница? У жулья на лбу не написано, что он жулик. А одежду хошь какую можно

одеть. Сейчас все норовят пожить за чужой счет. Только рот раззявишь — и вещички-то тю-тю. И друга поминай, как звали.

— Тетя Зоя, — вспыхнула Олеся.

— Что тут случилось? — положил Паша свою руку на ее. — Что, скажи?

— Да, — отмахнулась она. — Не обращай внимания, Паша.

— Вещи у них стырили, — с какой-то затаенной радостью брякнула молчавшая до сих пор вторая женщина и хихикнула: — И деньги.

— Теть Лида! — умоляюще приложила руки к груди Олеся. Но та лишь отмахнулась от нее и поспешила выговориться:

— Пока один ей тут сказки о своем житье-бытье рассказывал, другой сумочку-то ловко так под рубаху (тетка симитировала действия воришки) — рраз! — и стилигузил. И сразу же ходу отседа. За ним и второй откланялся.

— Так ты что, сударыня, все видела и не подсказала? — усмехнулся Пашка. Знакомая картина: как раз на это и рассчитывает любой вор. И чем он наглее, тем вернее фарт.

— Я те никакая не сударыня, но и не дура набитая! Чтобы он мне по глазам бритвочкой? Вон, недавно люди сказывали... И пошла-поехала заезженная страшилка о мести вора за подгляд и подсказку. Ну и вывод отсюда соответствующий: не-е, мол, лучше не соваться. Своя рубашка ближе к телу...

— Ну-ка, хватит небылицами пугать! — резко оборвал ее Пашка.

— Дева-а, небылицами, — всплеснула тетка руками. — Да если ты хошь знать, солдатик ...

— Не хочу, — Пашка так посмотрел на нее, что она испуганно смолкла на полуслове. — Олеся, какая была сумка, что в ней и сколько денег? — И поняв, что ничего он от нее не добьется, повернулся к ее матери. — Это... Как мне к Вам обращаться? Вам далеко еще ехать?

— Людмила Яковлевна, — спокойно сказала она. — Еще очень далеко. А сумочка довольно старая, не беспокойся, Павел. Не стоит она того.

— Ага, не стоит! — вновь воспряла духом тетя Лида. — У них там были последние гроши на прожитье. Не стоит.

— Как-нибудь проживем и без них, — вздохнула Олеся. — Давай, Паша, выйдем в тамбур. Мама, я скоро. Подышать свежим воздухом хочется.

В тамбуре никого не было, и она прислонилась к боковой двери.

— Олеся, — Паша взял ее за локоть и заглянул в глаза. — Скажи, что было в сумке, кроме денег. Мне обязательно надо знать.

— Зачем, Паша? — Его настойчивость пугала ее. — Ну, хорошо. Там обручальное колечко мамы и кулон. Жалко, ей все это папа еще дарил.

— Ну, это уже кое-что, — прикинул он. — Это уже приметы. В общем, так: иди сейчас к матери и ждите меня.

— Не надо, Паша, — искренне испугалась она. — Не

надо. Нельзя нам с милицией связываться. — И опустила глаза. — Я тебе потом все расскажу... Если ты захочешь.

И вновь Пашка вздрогнул от памяти. Он будто услышал те страшные слова медсестры. И так же, как тогда, они горько и больно резанули слух: «Увезли ее с матерью... Куда, куда? На кудыкину гору. Там врагам народа место...» - Он понял, отчего ее мать выглядит такой древней старухой. В лагерях политическим было тяжелее всех. Тяжелее — даже не то слово. И он сам видел это.

— Нельзя нам в милицию обращаться, — тихо продолжала Олеся. — Мама без спросу на похороны своей сестры ездила. Она ведь в ссылке сейчас находится и отлучаться с места нельзя. Узнают — могут прибавить срок ссылки, а то и вовсе снова посадить. — Голос ее дрожал. — Я так долго ее ждала. У тети этой в Челябинске. Тетю в те годы не тронули, потому что она на военном заводе работала. Остальных родственников уже ни одного в живых нет.

У Пашки комок горечи подкатил к горлу.

— Леся, я не в милицию. Я тебе тоже потом что-то расскажу о себе. Если ты захочешь. А теперь подожди меня с мамой. — Он нежно прикоснулся губами к выбившемуся из-под ее косынки белокурому локону и тихо пробормотал: — Ты даже не представляешь, как я рад, что встретил тебя.

Олеся не отстранилась.

— Я тоже, — искренне сказала она. Для нее он был все тем же пацаном, который старше ее и может ловко лазить по деревьям.

Глава 15

Вкратце описав ситуацию, Паша прихватил с собой Андрея, и они двинулись на поиски «глухонемого». На их счастье, тот сам выглянул в одном из вагонов из купе проводника, когда они уже выходили в тамбур. Пашка поманил его пальцем и тихо спросил:

— Карты есть?

Немтырь сделал непонимающий вид.

— Да ладно, не финти, тут все свои, — шепнул Пашка. Но на всякий случай пальцами изобразил тасование колоды и раздачу карт. На лице немтыря появилось подобие улыбки, он осмотрелся и кивнул головой, что, дескать, пройдем в купе. Однако Андрею решительно указал оставаться снаружи.

— Со мной он, со мной, — знаками попробовал уговорить его Паша, но тот был непреклонен.

— Ну, ладно, подожди меня здесь, Андрюша, — сказал Пашка и незаметно подмигнул: в случае чего — можешь.

В купе сидел тот самый парень, с которым он недавно столкнулся. «Глухонемой» быстро достал две колоды карт. Пашка так же быстро полез в карман за деньгами и, будто невзначай, достал карманные часы с крышечкой: именной подарок капитана Грапова. Краем глаза он увидел реакцию сидящего за столиком парня и, нажав на головку завода, откинул крышку, нарочито медленно посмотрел на время. Потом с таким же форсом защелкнул крышку. Вор весь был его. Не спускал глаз с диковинки и «немтырь».

- Покажь, а? – облизнулся он. – Немецкие?
- Что, заговорил, ядрена вошь? А то темнишь все.
- Да ладно, сам-то не темни. Сам, может, не лучше.

Немецкие?

- А ты думал!
- Продай! Хорошо возьмешь за них.
- Не-е, не могу. Подарок.
- Ну, дай подержать хоть. Че боишься-то. М-да-а, цимус! – парни восхищенно переглянулись.

– Ну, не хочешь продать, может, «в очко» сыграем? – предложил вор. – Карты же для чего-то берешь?

– Вот именно для чего-то. Мне деньги не шибко нужны, – неумело перетасовывая карты, расхвастался Пашка. «Лопуха» он разыгрывал вполне правдоподобно. – Вот если че поинтереснее, тогда подумаю.

– Это пойдет? – блеснул парень золотым колечком на пальце. – А-а, вижу, что нравится. Ну, че, баш на баш?

– Корову впридачу дашь? – усмехнулся Пашка. – Я тебе таких колечек вагон и маленькую тележку могу приволочь.

– Иди ты! – удивился воришка и подмигнул «немому», дескать, клюнул «фофан». – Ладно, могу добавить, – он помотал кулоном на золотой цепочке. – Как, теперь пойдет?

Пашка изобразил на лице бурю переживаний и... согласился. А его соперники радостно, с явным предвкушением удачи, потеряли руки. Через полчаса он вышел к Андрею, держа в руках выдавшую виды черную кожа-

ную сумку. За ним показались оба его соперника, и каждый из них долго и с явным подобострастием тряс ему руку на прощание.

— Чего это они так? — изумился Андрей, когда они скрылись в купе. — Ты что, представился им генералом? Или парнем из «смерша»?

— Ни то, ни другое. Просто я вернул им их проигранные открытки. Жить-то им тоже как-то надо.

— Ну, ты дае-ешь! — еще больше изумился сержант, но расспрашивать дальше не стал. Однако по пути к общему вагону нет-нет да и повторял наивный сержант: — Ведь это же надо, мошенников облапошил. Вот что значит — фронтовик! — А после того, как увидел Олесю, констатировал со вздохом: — Фартовый ты парень, Паша. Таковую девушку встретил. Я тебе завидую. Для такой и я бы что хошь выиграл у тех чертей.

— Так ты ж играть не умеешь, — подшутил Пашка.

— А я бы и не играл, — рассмеялся сержант. — Я бы эту нечисть с поезда сбрасывал! — И не понял, почему загрустил от этих слов его попутчик.

Вскоре Андрей прибыл на свою станцию, и они распрощались.

Следующую пересадку Паша уже делал вместе с Олесей и ее мамой. С самого начала это была его инициатива, и Людмила Яковлевна, видя его отношение к дочери, несколько не противилась. Уже в другом поезде она, выбрав время, когда Олеся спала, не таясь рассказала ему, что жить ей осталось совсем недолго, и просила помочь Олесе по жизни.

— Позаботьтесь о ней, Павел, — просто сказала она. (Она вообще всех людей называла на «Вы».) У нее никого не останется... Кроме Вас. А она еще такая молодая и неопытная в жизни. Прошу Вас. Обещаете?

— Я сделаю все, Людмила Яковлевна. Поверьте мне.

— Верю. Ну и ей, конечно, пока ни слова о моей болезни. Так?

— Так, — Пашка ничем не мог помочь ей и оттого чувствовал себя в чем-то виноватым. И беспомощным. — Все же я надеюсь на Ваше выздоровление, — в очередной раз пробормотал он.

— Ну, вот и хорошо, — завершила тайную от Олеси беседу ее мама. — Надеяться надо всегда. Надежда умирает последней.

От станции до рабочего поселка на окраине Караганды, где Людмила Яковлевна жила и работала учительницей, они добрались на попутной полуторке. Лачуга, в которой она жила, снаружи являла собой жалкое зрелище.

Сложенная из самана, она была низким, но довольно просторным жилищем из одной комнаты, небольшой кухоньки и крохотных сеней. Все это с потрескавшимися и почерневшими от угольной пыли стенами, на которых уже не видна была побелка. Крыша состояла из жердей, переложенных тальником вперемешку с сухими стеблями подсолнуха и сверху накрытых соломой. А сверху всего этого просто присыпано землей. В комнате у стены стояла допотопная железная койка и самодельная этажерка со множеством учебников на полках; у другой

стены — топчан и у окна — столик и табуретка. В комнате — порядок, все чисто прибрано.

Виновато улыбаясь, Людмила Яковлевна развела руками:

— Вот мои хоромы, доченька. Тебе — топчан, мне — кровать, а если Павел останется с нами, сложим ему из самана лежанку. Соломы на матрацы на всех хватит.

Она с тревогой поочередно смотрела на Олесю с Пашкой, но тревога ее была напрасной. Дочь была счастлива, что после стольких лет разлуки она снова с мамой, а счастье Пашки невозможно и описать: быть рядом с Олесей — об этом он и не смел мечтать. Это что-то запредельное. Ну, а к суровому быту за два почти года войны он привык. Случалось жить и не в таких условиях. Понимая, что он нашел свое счастье в жизни, Паша в благоговейном трепете признавался себе, что это ему дано свыше, и не переставал благодарить судьбу. Судьбу, но еще не Бога.

Беда пришла намного быстрее, чем то предполагала сама Людмила Яковлевна. Уже через неделю Паша, вернувшись из города, где оформлял документы на жительство, застал ее в кровати. Она слабым голосом позвала его. Олеся в это время была в городе.

— Павел, кажется, мне пришла пора закругляться, — с виноватой улыбкой сказала Людмила Яковлевна и поторопилась остановить Пашкин порыв. — Нет, нет, не надо. Никаких лекарств не надо. Я только что выпила, и мне немного лучше.

Выслушайте меня, Павел. У меня в лагере была по-

друга, которая все свои надежды возлагала на Бога. Она и меня убеждала делать то же самое, но я считала это ее слабостью. Нельзя надеяться на то, чего нет на свете, думала я. Миражи прибавляют сил лишь на то время, пока они существуют в твоём воображении. Или пока ты их видишь на горизонте. Потом они исчезают, ещё больше усугубляя чувство безнадежности. А горизонт остается. Горизонт — это атмосфера, это всегда жизнь, и он может существовать без миража. Мираж же вне атмосферы существовать не может.

Я себя считала сильной и не могла позволить себе этих самых проявлений безнадежности. Теперь я начинаю понимать свою ошибку. Может быть, потому, что чувствую свою слабость. Я давно ее почувствовала, но не хотела признаваться в этом. Бог — это не мираж. Мираж — это мы, на мгновение появляющиеся на горизонте жизни. Какое-то время мы существуем, обманывая всех, в том числе и себя, своей реальностью. На самом деле мы не больше, чем пустынное марево, которое, прожив определенное ему время в атмосфере, бесшумно и бесследно растворяется в ней. А Бог — Он везде и всюду, это и есть атмосфера, жизнь. Он существует. Теперь я в этом уверена. Совсем недавно я впервые обратилась к Нему. Да, в том самом поезде, где мы встретились с Вами. Я просила, если Он есть, чтобы Он послал мне человека, на которого я могу положиться. Кому я могла бы доверить мое единственное сокровище — мою Лесю. И не поверила самой себе, когда буквально через день появились Вы. Это был ответ на мою мольбу. Не потому,

что Вы каким-то образом вернули наши сбережения, нет. Я разбираюсь в людях: кто бы Вы ни были, Вы любите мою дочку искренне, меня не надо в этом убеждать. Вы мне обещали заботиться о ней, теперь обещайте, что не оставите ее.

— Людмила Яковлевна, разве Вы сомневаетесь?

Она тяжело задышала и откинулась на подушку:

— Нет, Павел, не сомневаюсь. Иначе я бы не завела этот разговор.

— Мы забыли об Олеся. Что если у нее другое мнение обо мне?

— Не беспокойтесь, мой друг, — попыталась она улыбнуться. — Олеся мне все уши прожужжала о Вас. Вы будете красивой парой. Возьмите-ка вон ту книгу на столе и прочитайте адрес на обложке. Прочитали? Скажите, Вы сможете сегодня найти этого человека?

— Нина Сагинян. Это Ваша подруга по лагерю? — догадался Паша.

— Да. Мы были с ней в АЛЖИРе. Это, наверное, самый страшный лагерь во всей здешней системе. Павел, тот, кто даже может выжить в нем физически, духовно остается калекой на всю жизнь. А Нину они не смогли сломить и духовно. Потому что у нее есть Бог. Возможно, что ее и дома нет. Но попробуйте.

— Что такое АЛЖИР, Людмила Яковлевна?

— Это аббревиатура. От «Акмолинский лагерь для жен изменников родины». Только изменники как раз те, которые судят невинных людей.

— Я это знаю. Я ей все скажу, как есть?

- Да. После освобождения мы виделись только один раз. Если сможет, пусть придет.
- Она придет, Людмила Яковлевна. Только Вы...
- Я не умру, – перебила она и снова попыталась улыбнуться. Улыбка получилась довольно жалкой.
- Я не о том. Вы только не волнуйтесь лишний раз.
- Я не буду. Идите.

Глава 16

Отыскать нужную улицу оказалось не так и трудно, но дома никого не было, и Пашке пришлось битых два часа околачиваться у ограды. Дома здесь были небольшими, но аккуратными, с небольшими приусадебными участками. Как назло, не отзывался ни один из соседей. Зато его успели облаять собаки всех близлежащих домов.

Но вот к дому приблизилась немолодая женщина с кошелкой в руках и остановилась, вопросительно глядя на бежавшего к ней со всех ног Пашку. После первых же слов и упоминании о Людмиле она завела его в дом и тут же покинула его, попросив немного подождать. Она должна была кого-то привести. Кого, Пашка не понял. Он только понял, что его оставили одного в совсем не бедном доме. По всему видно, ворье здесь не озорничает. Или у него действительно respectable вид? Ну что ж, если он вызывает доверие незнакомых людей, это

вселяет надежду на будущее. Пашка как сел на стул, так и не сошел с места, пока хозяйка не появилась снова. Теперь уже в сопровождении высокого, статного мужчины лет под пятьдесят.

— Иван, — протянул он руку Павлу. — И никаких отчеств, так и договоримся. А ты, Паша, значит, отвоевал свое? Милости просим в наши края. — И к хозяйке: — Ну что, Нина, тронемся. Пусть Бог благословит нас на этом пути и усмотрит нашей больной спасение. Помолимся.

Они склонили головы, и Иван, сложив руки на груди, вполголоса зашептал молитву. Пашка неловко переминался с ноги на ногу, не зная, как себя вести в этой ситуации. А она снова напомнила ему то время, когда он вроде как охранял таких вот людей в доме тети Даши. И почему-то вспомнился Славик. Ведь это те самые люди помогли его семье избежать ареста. Они бескорыстно помогают друг другу в беде. В мысли сразу же закралась надежда, что через них он, быть может, и найдет тетю Дашу, а вместе с ней и мать с Васькой. В который уж раз ловил он себя на том, что не испытывает к сродному брату того прежнего неприязненного чувства, а, наоборот, сильное желание увидеть и опекать его. Ведь он еще совсем маленький.

У постели больной с беспомощным видом сидела заплаканная Олеся. Часа два назад уехала скорая, врач которой настоятельно требовал госпитализировать больную. Кроме гипертонического криза, он заподозрил еще массу болезней, включая диабет и рак. И поскольку мама

ехать в клинику категорически отказалась, несмотря на то, что уже два раза теряла сознание, все это он сообщил Олеся. Состояние пациентки, по его мнению, было удручающим, и вопрос жизни и смерти может решиться в ближайшие дни. Если не часы. Он также дал ей адрес участкового врача и сказал, чтобы она немедленно связалась с ним.

И хотя весь вид матери говорил как раз об этой необходимости, мама не разрешала ей вызывать врача. Она все ждала Павла. Лицо Людмилы Яковлевны приобрело матово-бледный оттенок, а кожа вокруг глаз и на щеках отчетливо пожелтела. Что делать? Ослушаться маму и вызвать наперекор ей врача? Олеся была растеряна, она ведь даже не подозревала, что мама так тяжело больна. И как спасение восприняла приход Павла с гостями.

— Паша, — кинулась она к нему. — Уговори маму вызвать врача. Ей снова очень плохо. — И к гостям: — Она вас так ждала. Может быть, пока вы посидите с ней, я сбегаю к участковому врачу?

— Ничего не надо, Леся, — чуть приподнялась с подушки Людмила, и Нина бережно обняла ее. — Вот мой доктор, доченька. Боже мой, ты пришла, Нина. Я боялась, что тебя здесь уже нет. Значит, так и не дали тебе разрешения на выезд домой?

— Они и не дадут, Люся. Какое может быть разрешение бывшей обитательнице АЛЖИРа? Тебе много разрешают? То-то. Я почти каждый день должна отмечаться. Будто могу куда-то сбежать. По всему видно,

долго мне еще тут жить. Но на все воля Божья. Что у тебя, Люся?

Она ласково, как ребенка, гладила ее по лицу и волосам и называла Люсей. Так звал ее папа, но от другого человека Олеся услышала это впервые. А у Паши это имя сразу же приобрело значимую окраску. Мама — Люся, дочка — Леся. И похоже, и разное. Наверное, это и имел в виду отец, когда давал ей это красивое имя. Самое прекрасное для Пашки.

— Как видишь, — подобие виноватой улыбки скользнуло по лицу Людмилы. — Помнишь, я тебе сказала, при каких обстоятельствах буду искать тебя?

— Помню. Когда ты признаешь себя слабой. Они пришли — эти обстоятельства?

— Теперь уже — да, Нина. Похоже, там, на речной переправе в Аид, меня уже ждет лодочник Харон. — Голос Людмилы то слабел, то становился чуть слышнее. — Греки клали в рот покойнику монету. Вот и вся плата за прожитую жизнь. Одна драхма, один грош, одна копейка...

Нина знаками пригласила Ивана, сидевшего с Пашей на топчане.

— Это Иван — старший нашей поместной церкви, — пояснила она.

Иван взял Людмилу за руку:

— Ты чувствуешь себя слабой, Люся?

— Да.

— Тогда тебе нужен Иисус. К Харону тебе еще рано. Зачем спешить, ведь ты еще не обращалась за помощью

к Спасителю. Без Него нельзя решать время ухода в вечность. Давай обратимся вместе и послушаем, что Он ответит. Если Он даже решит, что кому-то пришла пора переплыть реку, которая отделяет земную жизнь от вечности, то все равно это будет не тот мрачный Аид, куда везет Харон своих пассажиров. И вовсе не та река. Христос Сам на руках Своих перенесет нас через реку смерти в вечность, в Свои чудные обители. А их у Отца Небесного изобилие для своих детей. То есть, для тех, кто признал себя грешником перед Ним, покался и принял Его в свое сердце. Слушай, что говорит любящий Бога: «Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим... Если я пойду и долиной смертной тени — не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня».

Ни Паша, ни Олеся, ни сама Людмила никогда не слышали таких слов. Они заполнили все пространство, они брали за живое, проникали в самые отдаленные уголки души и звали к чему-то вышнему, горнему. Чудные, целительные, чудодейственные слова! Людмила попыталась приподняться, и Иван помог ей сесть на кровати:

— Люся, дорогая, давай помолимся и отдадим все в руки Его. Господь знает, что лучше. Знает, потому что жил на этой земле и умер за грехи всех нас: и за тебя, и за меня. Он приглашает всех: «Придите, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас!»! Миллионы людей слышали это приглашение, принимали его, получали мир и радость, покой и жизнь вечную. Приподни-

майся, смелее, вот так. Ты плачешь, Люся, значит, ты готова просить Его. Проси, и Он откроется тебе...

Людмила Яковлевна кивает головой и шепчет слова, которые приходят к ней сами, слова любви к Иисусу. Ее душат слезы, но это слезы такой неизъяснимо благословенной радости и восторга, что она чувствует, как душа ее освобождается от непомерного гнета мирской суеты, а все ее брненное, измученное тело наполняется животельной энергией. С трудом, но скатывается она с кровати и встает на колени рядом с Иваном и Ниной. Олеся, склонившись к маме, платочком вытирает ее залитое слезами лицо, и... вот уже она сама, еще не осознавая, что делает, с глазами полными благодарных слез, становится на колени рядом с мамой.

Иван продолжает теперь уже за всех:

— Благодарю, Господи, что Ты открылся ищущим Тебя. Теперь они с Тобою. Ты видишь, Господи, нас и слышишь нашу молитву к Тебе. Прими их в свои святые объятия. Воистину, страдания не посылаются просто так. Теперь мы видим, что Ты послал эти страдания для того, чтобы мы оглянулись на самих себя. Оглянулись и пристально всмотрелись, чтобы успеть еще здесь, на земле, освободиться от пороков. Принести к Твоим пронзенным ногам все грехи наши.

Пашка вслушивался в его слова и примерял их на себя. Ему казалось, что Иван говорит именно о нем. Оглядываясь на свою жизнь, сколько раз казнил он себя за свои проступки! И если бы не порыв Олеси, вставшей на колени рядом с матерью, там, наверняка, встал бы он. Но

кто-то просто осязаемо придержал его, встал неодолимой стеной между ним и молящимися. И зашептал прямо в душу: «Леся — невинный ребенок, а ее маме подлые люди принесли столько горя. Она прошла через такие страдания, которые должны бы понести как раз те, кто судил ее за них. И Леся, и мама заслужили прощение Бога. А ты? Ты ведь только и делал, что приносил несчастье другим. Обкрадывал, обыгрывал, обманывал... продолжать?»

И Пашка остановился в полушаге от покаяния. Иван уловил его движение, но торопить парня не стал.

Как бы там ни было, но Павел испытывал радость за людей, ставших ему близкими в это последнее время. Он стал очевидцем чуда: на его глазах преобразилась мама Олеси. В один момент ее стало не узнать. Куда только подевался тот зловецкий налет желтизны, вместо которого на щеках проступил чуть заметный румянец. Конечно, это можно было отнести на счет ее возбужденного состояния, но он был счастлив видеть эту перемену. Уже хотя бы потому, что она благотворно отразилась и на Олесе. Зыбкая надежда на выздоровление матери сменилась уверенностью, и страх за нее истаял, растворился во вспыхнувшей любви Олеси к Богу. Подспудно, как и в любом человеке, любовь эта зрела давно, но открылась только тогда, когда она поняла, что Бог любит ее. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас...» «Издали явился мне Господь и сказал: „Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение“».

Придет время, поймет это и Павел.

Глава 17

Выздоровление Людмилы Яковлевны пошло такими темпами, что окружающие ее только диву давались. Нина даже сказала однажды, что она помолодела. Что, в общем-то, соответствовало действительности и замечено было не только ею. То же самое говорила матери и Олеся. Они обе готовились к крещению и с волнением ждали этого события. А Божьи благословения изливались на них в таком изобилии, что казалось, будто задержавшись на пути к ним где-то в людской суете, они спешили теперь наверстать упущенное. Хоть и не ахти какая это удача быть принятой в городскую рабочую столовую помощницей повара, но и этому была рада Олеся. Потому что в условиях карточной системы и тотальной нехватки продуктов большинство населения жило впроголодь. Теперь эта проблема была более или менее решена.

А Павлу Иван еще раньше помог устроиться к себе на шахту учеником электрика. Профессия по тем временам очень важная и нужная. И жил теперь Пашка на два дома: если работал в первую смену, то ночевал на саманной лежанке в доме Людмилы Яковлевны, а во вторую — оставался у Ивана. Тут ближе к работе было. Несмотря на разницу в возрасте, они сразу подружились. С того самого памятного дня.

Допоздна тогда засиделись гости. Давно уже спала Людмила, и ее спокойное, ровное дыхание говорило им больше, чем любой врачебный диагноз. Потом по общему решению Пашка проводил их и остался у Ивана, поч-

ти всю ночь проведя в разговорах. Много кое-чего нужно было выяснить и той, и другой стороне. Пашка выложил Ивану все о своей жизни без прикрас, и как-то так получилось, что вот он, дескать, бывший вор, и не стоит поэтому надеяться на расположение Бога. Иван слушал не перебивая и, когда Павел смолк, только покачал головой.

— Выходит, ты, Паша, считаешь себя негодным для Его любви? Наверное, потому и не решился сегодня обратиться к Богу. Да видел я все, Паша, видел, — усмехнулся он, когда тот вскинулся от удивления. — Не впервой мне это наблюдать. А хочешь знать, кто остановил тебя?

— Кто? — затаился Пашка.

— Сатана. Враг душ человеческих. Не хочет он тебя отпускать, Паша, потому что ты его человек. Не скажу — раб, еще обидишься. Ну, а кому ж интересно отдавать своих людей? Только ты должен запомнить вот что: Иисус пришел спасти не праведников, но грешников. Слушай слова Христа: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии...»

— Вникаешь, Паша?

«Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». — Иван говорил, не заглядывая в Библию, которая, однако, лежала рядом с ним. Закончив, внимательно всмотрелся в собеседника:

— Запомнил?

— Вроде, да, — неуверенно сказал Павел.

— А понял? Или тоже — вроде?

— Понял... кажется. В просторечии говорят: «За одного битого двух небитых дают». Так?

— В какой-то мере. Бог любит всех людей, потому что они — Его творение. Это ответ на сомнения, которые еще не раз тебе подсунет сатана. Вот представь себе: Христос пил и ел с грешниками, да? И те, кто считал себя праведником, стали упрекать Его в этом. По их мнению, общение с грешниками недостойно Его. Он, дескать, должен был быть только с праведниками. Тогда Он ответил им: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать к покаянию не праведников, но грешников».

И до Пашки стал доходить смысл сказанного:

— Ты хочешь сказать, что если бы Христос был сейчас здесь, Он бы спокойно сел пить и есть со мной?

— Именно так, Паша.

— Я хочу видеть эти слова, Иван. Где я могу взять Библию?

— Вот, читай пока мою. Потом, может быть, разживемся еще и будет тебе своя Библия. Братья обещали... — он вдруг смолк.

— Кто? Что обещал?

— Потом расскажу, Паша. Придет время и расскажу. А теперь давай спать. Надо хоть немного отдохнуть перед работой.

А поток благословений продолжался. Павел быстро, прямо на лету, схватывал премудрости своей профессии и вскоре получил уже третий разряд электрика и право на самостоятельную работу. Также быстро он освоился

и с конспирацией, необходимой составляющей жизни верующих людей. И хотя он еще не покаялся, но Библию читал с огромным усердием.

С самого первого дня он понял, что эта книга его и для него, и сильно горевал, что столь долгое время не имел возможности читать ее. Вместе с Олесей и ее мамой он ходил и на собрания, которые проходили в доме одного из верующих братьев на окраине Караганды. Постоянно приходило человек двенадцать-пятнадцать, и все хорошо знали друг друга.

В один из таких вечеров приезжий проповедник по имени Николай спросил его после первой молитвы прямо в собрании:

— Паша, мне сказали, что твоя фамилия Балан. Это так?

— Ну, да, — у Паши отчего-то учащенно забилось сердце. — А что?

— Полгода назад я был на служении в одной южной области. Так вот там в одном селе две пожилые сестры на каждом собрании просили молиться за Пашу Балана. Я почему это запомнил: они обе считали его своим сыном, хотя сами даже не сестры по крови. Одну из них, что помоложе, звали, кажется, Ирина Требко. Еще я запомнил, что парень тот пропал без вести не то в тридцать шестом, не то седьмом году. Что, Паша? Ты? Твои?

Вот оно — то время! Время собирать камни. Время разбрасывать камни прошло. Павел еще не полностью осознал и поверил в услышанное, а ноги уже несли его вперед к Николаю.

— Мои. Мать моя и тетя Даша... Она мне тоже как мать, — он растерянно, будто ища поддержки, оглядывался по сторонам, потом собственные слова дошли до него, он медленно осел на колени и, не стесняясь, заплакал: — Услышал Ты, Господи, меня, услышал. Будь благословен навеки, Иисус! — шептал Павел, и пальцами, как ребенок, размазывал слезы по щекам. Все тело его содрогалось от беззвучных рыданий. — Ты не оставил меня Своей милостью! Прости мне, Господи, что так долго не верил в любовь Твою. Прости мне все грехи мои. Прости и прими меня к Себе...

Все собрание стояло на коленях и в неизбывной радости любящего сердца благоговейно молилось за обращенного брата. Многие не могли сдержать слез. Плакала и Олеся. Она стояла рядом с ним и восторженно повторяла:

— Видишь, Паша! Видишь! Я же говорила.

Вот таким не совсем обычным было покаяние Павла Балана. Без призыва, без уговоров, сиюминутно, так, как, наверное, и было предусмотрено Всевышним. И в этот момент Пашка понял, что уже никогда более не вернется к своей прежней жизни. Без всяких клятв и зарок не вернется. Какими все же разными путями идут люди ко Христу, и как разнится этот путь к Нему во времени! Одному не хватает и всей жизни, чтобы прикоснуться к Его пронзенным ногам, другой принимает Его с первых же услышанных слов. Наверное, это и есть те, которых Он предопределил. Им-то Он и посылает своих вестников. Павлу Он послал вот этого человека, принесшего

весть о матери. И, ни минуты не колеблясь, Павел принял предложение Николая поехать с ним в ту южную, Алма-Атинскую, область. От него не скрыли, что поездка эта будет опасной: брат Николай вез с собой Библии и другую запрещенную религиозную литературу. Вот он и решил, что солдатская форма Павла вкуче с медалями будет надежным прикрытием от любопытного глаза охранки. Кому придет в голову проверять фронтовика на предмет обнаружения такого багажа?! Пару недель отпуска на работе ему, конечно, предоставят: поиски матери — причина более чем уважительная. Ну, а если Господь предусмотрит ему там встречу с родными, чего лучшего остается еще желать! Об этом он и молился беспрестанно. Только теперь уже в твердой убежденности, что Бог слышит каждое его слово.

И Он предусмотрел. Вернулся Павел в Караганду уже не один, а с матерью, восьмилетним братом Васькой и тетей Дашей. И община пополнилась сразу двумя сестрами во Христе.

Одна-единственная комната, да еще крохотная кухонька, в которой ютилось пять человек: таково первое пристанище Ирины, матери Павла, и его тети Даши. Да плюс еще Васька-Василек, как Пашка стал называть своего младшего брата. Вот такая вот компания проживала теперь вместе с Людмилой Яковлевной и Олесей. И ничего — столько мира и согласия было в этом доме, что, приведись кому бывать у них, на ум тут же приходила поговорка: в тесноте, да не в обиде. Павел пока продолжал жить у Ивана. И даже он удивлялся той чудной об-

становке, в которой жили его родные люди. Только теперь он не был в неведении, отчего это так происходит. Просто иначе быть не может там, где во всем на первом месте Христос. Ну, а то стремление походить на сильных мира сего, те напрасные потуги «выбиться в люди» — всю эту пелену, застилавшую Павлу глаза, Иисус, простерши руку, снял одним Своим прикосновением: «Хочу, очистись». И Павел очистился от скверны мира и увидел свет. Свет Христовой любви. Кончилась власть тьмы, плотным покрывалом обволакивающая его душу.

Бывает так, что тучи, тяжелым свинцом зависнув над землею, надолго застилают небо. Настолько надолго, что человек уже теряет надежду увидеть солнце. И как радуется он, когда, разорвав эти темно-лиловые буруны, робко взглянет на землю своей неожиданной синью бездонный небесный колодезь, от которого не отвести глаз. Не отвести потому, что их притягивает завораживающая лазурь небес, настоявшаяся за долгие дни под тем мрачным покрывалом. Расцвеченная еще только угадывающимся в небесах солнцем, она отвоевывает все больше пространства, и вот уже с самими тучами происходит чудо. Только что лиловые, косматые и угрюмые, они постепенно светлеют, а потом и вовсе превращаются в островки белоснежного хлопка в океане безбрежного неба. Ах, как величаво плывут они! Чистые, нежные, шелковистые! Раззолоченные восторженными лучами благословенного солнца, они несут очищение даже самым огрубевшим душам! «Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пур-

пур, — как волну убелю.» Тогда наряду с ликованием пробуждается в душе и неясное тревожное чувство, и силится человек вспомнить о чем-то далеком и забытом. Чего сам он не может помнить, потому что это было задолго до его появления на свет. И он не может оторвать своего взгляда от этого, такого далекого, неба. И в то же время оно очень близко. Оно манит его своей завораживающей таинственностью и обещает так много. Это истосковавшаяся душа просится домой, туда, где ее встретит Христос. Воистину, это прекрасно! Прав поэт, сердцем постигший эту истину:

Одна есть в мире красота —
Любви, печали, отречения
И добровольного мученья
За нас распятого Христа!



Цветы на снегу

(Отрывок из повести)

Серый, мглистый свет обозначил узоры на заледенелом оконце и начинает робко пробиваться в комнату. Ванюшка давным-давно не спит, но вылезать из-под одеяла не спешит и лишь плотнее в него закутывается: за ночь изба выстыла, а мама только что затопила печку, и тепло пока не дошло до их ребячьей комнатки. Краем глаза он видит, что обеих сестренок уже нет на их койке — в школу убежали. Он слышит, как мама бренчит ведрами в стайке, и четко представляет себе все, что она там делает, потому что все это ему знакомо. Он знает даже, о чем она разговаривает с Дочкой, своей коровушкой ненаглядной. «Наша Доча-кормилица», — ласково называет она ее. Ваня тоже любит ее и часто сам безо всякого принуждения вставал пораньше, чтобы поухаживать за ней. Пока на его плечи не были переложены чужие, как он это понимает, заботы. Тая, меньшая из его сестренок, перешла в пятый класс и вместе со старшей сестрой Машей стала ходить в школу за шесть километров. Вот так ему и остался в наследство уход за самым меньшим братом. Ваня приподнимается и с опаской поглядывает на горницу: именно там, на маминой койке под ватным стеганым одеялом, и разметалась эта его головная боль — трехлетний Костя. Или просто ревушка-коровушка. Вот у кого жизнь! Мало того, что встает когда

захочет, так еще и таким ревом оповещает данное событие, что в доме сразу закипает жизнь и все приходит в движение. Суется мама, суется сестренки. Даже старший брат Вова, случись ему быть дома, не остается в стороне. Да и Ванюшке находится заделье. В общем, дом на ушах. Не проходит и пяти минут, как является дед Константин или бабушка Мария: оба непременно с каким-нибудь гостинцем, чтобы ублажить своего ненаглядного внука. Ну, что Дочка — ненаглядная, это Ваня еще понимает: в деревне она самая красивая и добрая королева. А какое она дает молоко! Но с каких таких шанежек рева Котька для них ненаглядный — этого он постичь никак не мог. Только и умеет, что орать благим матом.

В городе еще когда жили, так с этим его ревом не только папка вставал каждое утро на работу — весь барак будил «ненаглядный»! Стены-то в бараке — разборки соседских тараканов слышно.

— О, первый гудок запел, — кряхтел папка каждое утро, — пора на работу собираться.

— Гли, Артамон, тебе и часов не надо, — беззлобно шутили соседи. — Свой будильник есть. Большое дело!

Дело, действительно, было большое. За опоздание на работу в те времена могли и в каталажку посадить, но Ваня тогда этого еще не знал. Но знал точно, когда начинался рабочий день отца. Потому что в эту минуту над рабочим районом города зависал протяжный, такой же занудный, но не такой пронзительный, как у брата, заводской гудок. В этом гудке Ване всегда слышалась

какая-то приглушенная жалоба, будто сам гудок не выпался и скорбит по насильно прерванному сну. А затихший к тому времени Костик взрывался еще большим ревом, заглушая потуги заводской печали.

— Сурьезный мужик растет, горластый, — одобрительно говорил дедушка, бывший мичман морфлота. — Этот за себя постоит. — И совсем неодобрительно кивал в сторону Ванятки: — Не то, что этот тюхтя. Сынок маменькин.

Ваня от этих слов жался к матери, не понимая, чем плохо быть маминым сынком. Тем более, что он еще был и папкиным. И когда семья переехала, наконец, из одной комнаты барака в дом, выстроенный на околице соседней деревни, больше всего радовался Ваня, что дед с бабьей стали жить отдельно. Вход у них был с другой стороны дома, и ему теперь не так часто доставались подзатыльники деда. Константин Григорьевич был мужиком огромной силы и недолюбливал слабаков. Может, поэтому и не баловал своим вниманием хилого, часто болевшего Ванюшку. Ну, разве что тем же подзатыльником когда отметит. Зато в младшем внуке души не чаял. Хотя бы уже потому, что тот назван был его именем.

Кстати, почему это Котька до сих пор не заорал? Ваня ступил босыми ногами на холодный еще пол и на цыпочках прокрался в горницу. Вот оно что! На маминой кровати Костик пригрелся между двух сестренок! Как это Ваня забыл, что сегодня воскресенье и им не в школу? А значит, у Вани собственный выходной от Котьки день

и он пойдет на поиски ревунчиков, о которых вчера рассказывала мама. Это такие красивые зимние цветочки, которые растут на сугробах и сверкают-переливаются то алыми, то голубыми искрами. Только заметить их очень трудно. Тут Ваня засомневался: может, позвать Таю с Маруськой и поискать вместе? Но уж очень ему мечталось найти цветочки самому. Найти и подарить их маме и сестренкам. Вот радости-то будет!

Во дворе чуть слышно заскулила и взвизгнула собачонка. «Пудик! Вот с кем мы их найдем!» Его охватил такой восторг, что вылетел он из избы, забыв даже про шапку, и в сенях столкнулся с мамой.

— Ты куда в такую рань? — удивилась она.

— За ревунчиками, — выпалил Ваня. — Мама, я с Пудиком их искать буду. Ладно?

— Ах, за ревунчиками, — вспомнила Настасья. — Да ладно, конечно. Только это еще рано. Они же при солнышке растут. А до него они в сугробах под снегом прячутся. Вот выйдет солнышко — и пойдешь. Папка с Вовой к вечеру будут, а мы к тете Лизе на новоселье пойдем. Ты как найдешь ревунчика, сразу туда и носи. Только смотри, чтобы твой Пудик дедушке поменьше на глаза попадался.

Предупреждение отнюдь не лишнее: дня три назад Ваня из-за этой собачки чуть не получил порцию ремня от деда. Но обошлось как-то.

Никто не мог объяснить, почему этого мальчонку так любят все собаки села. Стоит ему выйти на улицу, как они — целая свора! — тут же сбегаются к нему, и он идет

как бы во главе своего воинства. И воинство это резвится, и ластится, и прыгает вокруг него и на него, стараясь лизнуть в лицо. И не отстанут, пока он не скроется в доме. Отец с матерью снисходительно относились к этому его увлечению.

Дед же, зная его пристрастие к четвероногим, строго-настрого запретил приводить их в дом. «Сперва собак бродячих, потом и друзей таких же начнет водить», — оборвал он свою дочь Настасью, когда та несмело попыталась защитить сына.

А последнее слово в доме было за ним, хотя хозяином был, конечно, Ванин папка. Дед с уважением относился к зятю, но ни во что ставил свою дочь. «Ни рыба, ни мясо» — называл он ее за тихий, смиренный нрав, а когда узнал, что ходит она молиться со ссыльными людьми, пришел в неописуемую ярость. И хотя сам же другой раз грозился, что, мол, доведись до него, так он бы всех попов извел, тут вдруг явил к ним милость.

— Ну, еще бы ладно, в церковь какую пошла, к попу-батюшке, — гневался дед. — А то ведь почти что к бусурманам-нерусям. Стыдобушка!

Так что не погодись тогда отца, кто знает, чем бы закончился его гнев. Негромко, но со значением указал ему зять, что на Настасью голос повышать он не позволит даже ее отцу. И это, мол, ее дело, с кем она хочет молиться. Сказал и ушел тут же. Два раза он никогда не повторял, и дед понял: власти его в семье пришел конец. Потихоньку страсти улеглись, но власть свою он перенес на внуков. Тут отец не мешал: дед плохому не научит.

Но такую белую лохматую собачку Ваня был не в силах бросить на произвол судьбы. На днях этот песик отстал от трактора с тележкой, на которой его бывшие хозяева из соседней деревни перевозили свой нехитрый скарб на станцию. Двенадцать верст бежал он за хозяевами, но здесь выбился из сил и отстал. Ваня на руках принес его в стайку и, намешав в жестяной банке хлеба с молоком, стал кормить его. За этим занятием и застал его дед.

— Это что еще за козявка така? — грозно спросил он. — Чтобы щас же духу его тут не было. Ишь, пуделя нашел! А ну-ка, дай его сюды.

Слово «пудель» в устах Константина Григорьевича было ругательным: им он называл мужиков, которые любят бражничать и бегают от своих жен. Поэтому Ваня не понял, причем тут его новый друг. Перечить деду бесполезно, да и небезопасно: того и гляди схлопочешь оплеуху. Но и отдать в его руки собачку Ваня не мог: а вдруг хрястнет дед песика о стойку, как он это недавно сделал с нашкодившей кошкой! И, похоже, его опасения оправдались. Дед, приглядевшись к песику, чем-то озаботился:

— Обдеру-ка я его, пожалуй, да рукавички сошью. Все польза будет.

Ваня в ужасе и как-то очень четко представил себе, как дед обдирает собачку, и все в нем запротестовало. Обхватив «пуделя» обеими руками, он загородил его от деда.

— Что-о? — сверкнул глазами бывший матрос и многозначительно поддернул ремень на штанах. — Бунт? Ах, ты тюхтя-куделя, деда не слушаться! Ну, бы-ыстра!

Он взял своей лапищей песика за шкуру, и тот жалобно заскулил. И тут случилось невероятное: Ваня впился зубами в протянутую руку, и дед, взыв от боли, отдернул ее и отступил на шаг. Этого хватило, чтобы внук пулей выскочил из стайки вместе с собачкой. А ошеломленный старик так и остался стоять, разглядывая отметины зубов на тыльной стороне руки.

— На, полюбуйся, что твой тихоня натворил! — сунул он руку выбежавшей на его вопль Настасье. — В тихом болоте черти водятся.

— Ваня? — всплеснула руками дочка. — Да он че, сдурел?

— Хм, сдурел, — хмыкнул мичман уже спокойнее и вроде как с нотками одобрения: — «Сдурел» — не то слово. — И больше для себя, чем для Настасьи, забормотал: — Вот тебе и тюхтя. Это надо же: за паршивую собаку деда укусил! Не побоялся, однако. Ну, это я тебе скажу, уже совсем другой коленкор. Может, и выйдет из него мужик. А то ведь как есть мамка смиренная.

— Дак ведь от Бога это, тятя, — чуть осмелела Настасья. — От Бога он смиренный такой да добрый...

— Тьфу, ты, опять свое заладила: куды ни сунься, везде у нее Бог, — в сердцах махнул дед поврежденной рукой. — И в кого только такая дуреха удалась?! Ладно. Покличь сорванца, скажи, не трону. Пусть и пуделя своего не прячет. Только если попусту брехать будет —

шкуру спушу. Хм, пудель! А что, пусть и назовет его Пудиком. Так прибудившийся песик получил свое новое имя...

Ну, а долгожданное для Вани декабрьское солнышко выглянуло наконец и разукрасило розовой бахромой края редких скученных облаков, и оттого сами они стали еще наряднее и поплыли белоснежными айсбергами в безбрежном океане синего неба. И от прикосновения его лучей заискрился зернистый снег ослепительными алмазными бусинками. В крепкий мороз мириады их вспыхивают то тут, то там, и так и кажется, что это распускаются на сугробах снежные цветы. Ах, сколько этих сугробов облазил Ваня с Пудиком, уже и из сил выбился, а так и не нашел ревунчиков. Вот вроде и мелькнет на снежной вершине цветочек, а докарабкаешься — он то ли перебежал в другое место, то ли под снег снова спрятался. Ну, только что был — и нету! Пудик рядом суетится, тоже искать помогает. А чуть подальше убежит — и уже слился своей белой шубкой со снегом так, что впору его самого искать. Но ему в отличие от опечаленного Вани весело: знай себе потягивает, а то и вовсе лаем восторженным заливается. Умаялся Ваня, загрустил и присел прямо на снег отдохнуть. Глаза взбросил, а цветочек — вон он! — на самом верху сугроба обозначился. Распушился от легкого ветерка и стебельком покачивается. Ваня, сколь есть силы, наверх, а это Пудик клубочком свернулся и от удовольствия хвостиком помахивает: вот уж цветочек так цветочек! Куда и грусть делась: развеселился Ваня от своей промашки и ну валяться с Пуди-

ком по снегу. Никакой мороз им нипочем. И не беда, что не нашел сегодня ни одного ревунчика. Завтра еще поищут. Во-он там, в лесу за заплотом. Позвав друга, Ваня задами направился к дому тети Лизы.

Прибыли они к тетке, а там переполох: Костик пропал. Снарядила его мама погулять по просьбе деда. Да не по просьбе, какой там! Он разве просит. Приказом приказал дед: дескать, пусть гуляет хлопец на свежем воздухе, а не за ее юбку тут держится. Вон Маруська с Таей, мол, присмотрят за ним. Кого им всем тут делать: бражные застольные песни слушать?

А Настасья, хоть и не пила вовсе, но все те песни заводила. Голос у нее высокий да чистый, как вода родничковая, и уж если случись ей быть в какой компании — все! Будет запевать до самого конца гулянки. В общем, укутала Котьку потеплее, шалью накрест перевязала — мороз-то отменный, под сорок! — и пошел мужичок-с-ноготок на улицу с сестренками. А там, ясное дело, детворы — целый табун.

Но как ни заигрались они с подружками, а Котьку из виду не упускали: вроде бы он все время под ногами путался. Потом как-то незаметно исчез. Ну, думают, замерз мальчонка да домой ушел, и дальше себе играют. Пока дед из дому за внуком не вышел. И онемели внучки от страха: так разве, мол, не дома он? Дед обратно в избу — нету там внука. Заметались гости в поисках ребенка, а его нигде нет. Ни во дворе, ни в стайке. Даже на сеновал заглянули — нету! И ужас охватил всех, когда

соседка, поджав губы, недомолвила, что недавно, мол, видела тут цыган на санях. А как в ту пору только и разговоров было, что о краже да продаже детей цыганами, то это прозвучало, как приговор, и сомнений ни у кого не вызвало. Следом озвучили и совет мечущейся по двору матери.

— Сельсовет оповестить надо, Настя. Может, перехватят бусурманов.

А тут аккурат и Ваня с Пудиком. Настя припала на колени и сына к себе в беремья, будто защитит от кого-то хочет.

— Ванюшка, Костик не с тобой? Ох, лучше бы я с тобой его оставила. Где ж теперь искать-то его?

Ах, какой жгучий стыд испытал Ваня за ту радость, что отвязался сегодня от Котьки. И такая жалость к братику пронзила все его существо, что он заплакал. В самом первом своем покаянии вдруг понял он, почему Костик для всех ненаглядный. Потому что самый маленький и беспомощный. Неужели он его не увидит больше?

— Мама, надо Боженку попросить, чтобы вернул Котю.

— Конечно, сынок, только проси и молись пуще.

И тут кто-то из гостей огорошил всех своей догадкой:

— Колодец!

Охнула и захватилась за грудь Настасья, и как вкопанный остановился обежавший все соседские дворы Константин Григорьевич.

— Да не-е... — повел он взглядом в глубину двора, где сквозь наметенный снег почерневшими бревнами сиротливо обозначался сруб колодца. Колодец старый, давно уж без ворота, как и без воды, а все недостает времени его засыпать. И хоть по сугробам к нему никаких следов, но поземка-то при таком морозце и солнышке так чисто подвевает понизу, что может и поглубже след замести, а уж от ребенка и подавно. От ребенка какой след! Кинулись все к колодцу, а что там разглядишь — вроде и чернеет что-то на глубоком дне, а вроде и нет. Поди разберись в такой темени.

— Веревку! — выдохнул дед и бегом к стайке. А Лизавета уже сняла моток с сеновала и подает ему. Сама рядом с Настасьей на колени прямо в снег — бух! — и запричитала. Рядом Тая с Маруськой голосят. Константин Григорьевич веревку на плечо, а рукой в сердцах как замахнется на дочерей да внучек.

— Проворонили дите, а теперь молитвы молить, разини! — кричит. И сбросил безнадежно руку, увидев, что те продолжают молиться. — Гришка, Мишка, кто там помоложе, пошли за мной. Пшел, чтоб тебя!

Это несмышленный Пудик на дедов огромный пим вскарабкаться успел. Не к месту, конечно, под ноги попался. Так и ластится да хвостиком виляет. И от своей несмышленности далеко за стайку улетел, визжа от страха. Дед хоть и не пнул его, а просто отшвырнул с пима, но страху от такого полета Пудик испытал немало. Однако подвывал и скулил от незаслуженной обиды недолго. Не успел Ваня подойти к нему, а Пудик уже зарыскал по

снегу мордочкой, да прямехонько за стайку. И тут же вернулся и к Ване: подпрыгнет, твякнет и — за стайку, словно показать что-то хочет. И так раз за разом.

— Что, Пудик, что? — заволновалась Настасья. И обнаружила там просевший наст по склону сугроба, и на этом углублении необычный, уже слежавшийся, зернистый, а не рыхлый, сползший сверху, снег. Тут Пудик заперебирал лапками и, подняв мордочку, призывно затыкал. Настасья осторожно подгребла рукой снег вперемешку с лежалым сеном и увидела зияющий пустотой покатый приямок под стайку глубиной больше метра. Там, на дне его, свернувшись в клубочек, и лежал ее Костик. И то ли от страха молчит, то ли уже наревелся досыта, то ли уснул малыш. Но голоса не подает.

— Тятя, тятя, сюда! — завопила Настасья. К великому облегчению Гришки, худенького хлопца лет двадцати, на котором дед как раз прилаживал веревку, чтобы спустить его в колодезь. Хоть в нем и нет воды, а лезть в такой замогильный холод кому охота? Оттого и радость у Гришки образовалась, и он вперед всех прибежал и вытаскивал Котьку. Ну, а о радости деда и говорить не приходится. Сгарамкал он внука ненаглядного в лапищи свои и в избу. Даром, что орет внук благим матом — впору уши затыкай! — а расцвел дед: для него это самая чудная симфония. Ублажая внука, о Насте вспомнил. Неловко ему, что обругал ее ни за что. По его ведь указу отпускала гулять ребенка.

— Как же ты наткнулась-то на него, дочка?

— Дак Пудик его нашел, — сквозь слезы улыбается она. И добавляет с верою в слова свои: — Просили мы Бога в молитве, вот Он и послал его Костика отыскать.

Вскинулся было в противоречии Константин Григорьевич, да осекся сконфуженно. И, откашлявшись в бороду, поманил Ваню:

— Ты к бабке зайди, пусть выберет Пудику твоему чего повкуснее. Заслужил, — обронил он миролюбиво. Потом, вспомнив что-то, разулыбался. — Ну, а ревунчиков-то насобира-нет, Ванюшка?

Ваня отрицательно замотал головой.

— Не нашел? — удивился дед. — А мать вон говорит — нашел. Да еще самого красивого, говорит, нашел! Ну, вот, сам нашел и не знаешь. Показать? Ну, смотри! — Константин Григорьевич поставил Котьку на колени и ладонью собрал с его щечек катившиеся градины слез. — Видишь, сразу сколько ревунчиков? А вот это самый главный ревунок. Так-нет, мать?

— Так, так, — улыбается Настя.

— Так, так, — поддакнул своим твякканьем Пудик.

Да и сам Ваня видит, что Котька и есть распустившийся цветочек. Цветочек с алыми щечками, черными глазами и розовыми губками. Ну, настоящий ревунок!



Снегурки

Дорога через таежный поселок, до блеска отшлифованная санями, оказалась великолепным катком для местной ребятни. Вернее сказать, для одного из них, потому что коньки есть только у Толи Кузеванова — одни на все село. Сию диковинку ему привез отец из города, и после одного-двух дней мучений Толя уже всю гонял из одного конца села в другой. Надо ли говорить, что все мальчишки гурьбой бегали за счастливецем в надежде на то, что он даст им прокатиться? И он давал. Но только тем, что постарше. Мелкоте рассчитывать на это не приходилось. И ввек бы Владуку не прокатиться, если бы не кузнец Авдей, напротив дома которого и топились пацаны. Долго наблюдал он за ними, пока не подошел сам.

— Ну что ж ты Владьке-то не дашь прокатиться? — укорил он Толю. — Он вам всем, значит, коньки привязывает, старается, а вы ему их жалеете.

— Да не умет же он! — вспыхнул Толик. — Кабы умел — не жалко.

— А ты сразу умел? — прищурился кузнец. — Вон скоко отец с тобой бегал, за руки держал. Ты дай, а там увидишь.

Авдей на селе авторитет, его не только простые сельчане — начальство слушает. Зашмыгал Толик носом:

— Да пусть пробует. Мне жалко ли че ли. А разобьется?

— Не-е, не разобьюсь, — торопится Владик, прилаживая снегурки на свои пимы.

Привязал, встал и тут же — бряк! Поднялся и — под хохот ребятни снова на снегу. С третьей попытки выпрямился, сделал шаг, другой и покатился, размахивая руками, будто ворона подраненная. Получается! Но оперся на носок, чтобы оттолкнуться шибче, и — теперь уже лицом в наледь!

— Хватит! — заорал Толик и к Авдею радостно: — Говорил же, побьется весь! — И опять к Владiku: — Че, мизгирь, больно?

— Не больно! — отчаянно кричит Владик. — Тебе самому больно.

Авдей помог ему подняться.

— Ты на носки не упирайся, крепше в стороны разъезжай.

На сей раз подольше вышло, но как только упал, коньков лишился.

— Скоро у меня тоже будут снегурки, — чуть не плачет Владик. — Я всем давать буду. Вот увидите!

Это звучит так наивно, что улыбается и Авдей. А увидев его улыбку, картинно схватился за живот Толик — и ну кататься со смеху по снегу.

— Ой, уморил! — деланно надрывается он. — У самих жрать нечего, а ему коньки подавай. Ой, уморил!

— А почему — нет? — хочет выручить Владика Авдей. — Вот подрастет и купит. Ладно-нет говорю, Владик?

— Нет, — упрямится тот. — Говорю же, скоро будут.

— Да как раньше-то где их взять?

— А вот папка вернется и купит.

И сразу же стихло хихиканье, и исчезли ухмылки пацанов.

— Дак это... — смешался Авдей и заозирался. — Это ведь как...

Договорить ему не дал самый старший из мальчишек, Колька Черемных. Его отца, бывшего сторожем в колхозе, еще в тридцать седьмом упекли за пожар на складе зерна, и с тех пор о нем ни слуху ни духу.

— Врешь! — зло выкрикнул он и подскочил к Владике. — Твой отец в тюрьме, а оттуда не выпускают. Там их убивают.

— А мой придет! — не сдается Владик. — Вот увидите.

— Мой не пришел, а твой придет! — оцетинился Колька, явно готовясь проучить Владика.

Легче всего ведь выместить скопившуюся обиду на таком же, как и ты сам, беззащитном. А что не будет от этого утешения, потому как непричастен он к твоему горю, так это осознается много позднее.

— Ну, будет вам, будет, — разнял Авдей пацанов. — Ну-ка, щас же замиритесь! Неча вам делить.

— А папка все равно придет, — замирившись, тихо шепчет Владик.

— Кто знат, кто знат, — вздыхает кузнец, расслышав его шепот.

Что он благоволит к Владике из-за его матери Анны, так это ни для кого в селе не секрет. Собственно, все село зауважало ее после того, как она спасла его жену при родах. Приспичило же той рожать, аккурат когда из-за

падеры в тайге так запуржило-замело, не то, что дороги — света белого не видно было. Кузнец к бабке Семеновне за помощью, а той нету. Он во все ворота подряд гремит да себя кроет на чем свет стоит, что, мол, угораздило же его не поспешить отвезти бабу в район. Аня узнала, в чем дело, и побежала тут же с ним к роженице. Сама приняла роды и двое суток от нее не отходила, пока не прорвалась в село сквозь затихающий буран акушерка Варя. А когда Анна ей свои наставления дала по уходу и за мамой, и за ребенком, так та рот-то и раскрыла: вот доярка так доярка — по-латыни все лекарства знает! И как их принимать, и когда, и по сколько. Открытием Варя поделилась с вездесущими старушками, и тут же по селу пошла молва, что Анна — ни много ни мало есть «истинный дохтур»!

Появилась она здесь год назад, когда война уже перешагнула границы страны, а из тюрем понемногу стали возвращаться заключенные. Догадаться, что она из мест не столь отдаленных, не составляло труда: тощая, как щепка, да и лица всего-то, что впалые щеки, чуть вздернутый нос да огромные, полные скорби глазищи. Скорби не затаенной, а кричащей в каждом ее взгляде. Видать, много этой скорби в тех местах. Впрочем, это даже никому и знать неинтересно. Не то время, чтобы вникать в чужую беду, когда своего-то горя у каждого хоть отбавляй. Ну, сидела, да и сидела. Кто в наше время не сидел?! Или не будет еще там? От сумы да от тюрьмы — это же как раз про нас. Единственным человеком, который что-то знал о ней, был старый бобыль Андрей Чеботарев, к

которому ее определили на постой. Но прояснения от него насчет Ани не последовало. Так ведь легче шпиона разговорить, чем его. Недаром же он всю жизнь каким-то геологом проработал. О нем самом-то люди только и знают, что сюда он прибыл лет пятнадцать назад с местными орочами. Он и сейчас все больше с ними в тайге промышляет. Мужик еще ядреный, к тайге привычный.

И людям невольно подумалось о некоей бывшей сударке бывшего геолога. Мало ли он по свету-то блуждал, так что, кто знает? А пока судили-рядили, через месяц другая загадка. Сам-то боббель уже в тайгу на зимовку ушел, а в доме его появилась еще одна женщина с мальчиком лет семи. И мальчик тот — две капли воды Анна. Тут-то и встало все на свои места. Это были сын Анны Владик и родная ее тетка Катерина. Тетя хоть и старше Анны, но много справнее. Сразу видно, что на вольных хлебах, не в кутузке жизнь проживала. Все это не стоило бы так подробно описывать, если бы не дальнейшие события.

В общем, по их приезде пошла Аня в доярки, и рассмотрели люди, что вовсе она и не убогая, а вполне нормальная женщина. Ни красотой, ни умом природой не обделенная. Грамотной оказалась девка, с большим образованием, даром что работала теперь дояркой. Но если бы кто подумал, что после выяснения этого факта ее тут же перевели в доктора, чтобы лечить людей, то сильно бы ошибся. Хоть медперсонала и не хватало по всему району, позвольительное место ей было только около коров. Вот теперь поверили сельчане в то, о чем им говорено было сразу: то ли сама она враг народа, то ли жена врага.

Они, конечно, выбрали второе, потому что ну какой же из нее враг, если у нее вон дите и такая скорбь-тоска в глазах — все нутро от жалости рвется. Не-е, это, может, мужик ейный, так это да.

Кто так о ней предполагал, был недалек от истины. Ее муж Сергей, военный врач, был арестован в тридцать девятом. Но поскольку арест они предвидели, то успели спрятать сына. Аня отвезла Владика в Читку, к своей тете по отцу. Но саму ее все равно посадили. Сразу, вслед за мужем. И дали пять лет, несмотря на то, что и от мужа отказалась (об этом уговор у них был), и признала все, что ей приписывали. Ну, не хватало у чекистов человека до «посадочного плана»! Свое она отсидела, и поскольку въезд в Москву был запрещен, ее отправили сюда на поселение. Зато тетя оказалась, по сибирским меркам, почти рядом. И как бы трудно ни было, но жизнь понемногу налаживалась. Дров у бобыля было припасено с лихвой, и весь дом был в их распоряжении. Кроме одной, его собственной, комнатенки, где, по его словам, у него были «личные причиндалы». Туда они и не заглядывали. И только уж перед тем как хозяин должен был вернуться, решили прибраться там. К весне дело шло. Зашла Катерина в ту комнатку да так и ахнула. Аня за ней вслед — и видит: стоит ее тетя на коленях перед портретом на стене и молитвы шепчет. Тут и Аня обомлела: в той молодой красивой девушке на портрете любой бы признал ее тетьку. И вспомнила Аня давнюю историю, что ее жених, геолог, еще перед первой мировой пропал без вести в экспедиции в дальневосточной тайге, и после долгих

бесплодных поисков его объявили погибшим. Катя ни о каком другом женихе слышать не хотела и уехала в Сибирь. А была она совсем молодой — на целых десять лет моложе жениха. Так всю жизнь и молилась о нем. Так неужели?..

Долго гадать не пришлось, потому что именно в тот момент в комнату неслышно вошел сам Чеботарь. И увидела Анна, как безмолвно опустился старик на колени перед той, которая только что встала с них, а она также безмолвно положила руки ему на голову, и так они стояли, боясь спугнуть время. Чтобы не ушло оно, не разлучило, как сделало когда-то очень давно. Целую жизнь назад. Оттого-то, значит, и был дед всю ту жизнь бобылем. Но вот ведь нашелся! Сначала для себя, когда вернулась к нему память, которую вышибло на реке Зее. Тогда его, полуживого, обезумевшего, сняли с плота китайцы, нелегальные добытчики женьшеня, и увезли в Китай. Там он и провел долгих десять лет, не понимая, кто он и откуда. И остался бы навсегда, если бы не погодились однажды там орочи: один из них сразу признал бывшего геолога. И вспомнил Андрей свое прошлое, и ушел с ними назад, на Зею. Но невесты своей в наступившее то лихолетье не нашел ни в Москве, ни где бы то ни было еще. Вся страна была уже одним нескончаемым серым этапом, бредущим по бескрайним просторам. Вмрачное никуда. Где уж тут одного человечка сыщешь?!

В том, Кто помог им встретиться, они и не сомневались, и славили теперь Бога уже вместе. Не раз видела Аня, как подолгу стояли они на коленях в благодарной

молитве к Нему. Катерина, и до того считавшая Аню дочерью, теперь готова была носить ее на руках. Ведь она ехала сюда, чтобы утешать Аню, а утешение нашла сама. Ну и как могла, облегчала ей заботы о Владике. Чеботарь также оделял мальчика своим вниманием. Тот целыми днями крутился возле него во дворе, когда он обустроивал свою запущенную обитель. Да и деда будто подменили: он даже помолодел и, суется по двору, то и дело забегал в дом убедиться, что Катя не исчезла. Явное, видимое счастье переполняло их обоих.

Тем непонятнее становилось раздражение Ани. Некоторое недовольство набожностью тети было у нее с самого начала, но ни протестовать, ни вникать в ее молитвы она не могла: слишком обязана была тете, чтобы указывать ей по жизни. Но когда застала сына, молящегося с Катериной за возвращение отца, взбунтовалась.

— Тетя Катя! — сказала она сдержанно. — Зачем сеять в душе ребенка надежду? Чем ее больше, тем горше будет разочарование. Одно дело, когда человек сгинул без вести, — тут можно надеяться. Но из лагеря...

— Про то, что будет, не нам знать, Анюта. Про то только Бог ведает.

— Не только Бог, тетя. Про это я знаю. Я знаю, что такое десять лет без права переписки. Живыми из тех лагерей не выходят! Без просвета это! Какая тут надежда?

— Простая, Аня. Смотри, что говорит Библия: «Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, чего ему и надеяться? Но когда надеемся на то,

чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших: ибо мы не знаем, о чем нам молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными».

И берет Аню досада. Не дойдет до нее смысл сказанного, хоть и не в первый раз цитирует ей тетя из Библии. Убежденный атеист, она лишь ожесточалась в ответ на робкие попытки Катерины убедить ее обратиться к Богу. «Где Он, твой Бог? — кричало все в ней. — Где Его милость, если Он видит, что невинных людей уничтожают, как насекомых?»

Но вслух этого не говорила.

А время шло. Вот и лето пролетело, и засобирился Чеботарь в тайгу на зимовье, потому что, мол, обещал орочам. Ну, да это в последний раз, а вернусь, мол, пораньше. Ис его уходом как-то сникла Катерина и больше уже не пыталась говорить с Аней о Боге. Зато с Владиком было у них в этом полное согласие.

А в тот день он прибежал домой расстроенный.

— Ну, что там у тебя? — притянула Аня его к себе. — Не поделил чего?

— Я перед пацанами выхвалялся, что у меня снегурки скоро будут.

— Сынок, — всплеснула она руками, — откуда у нас деньги?

— Я сказал, что папка купит, — потупился Владик. — Когда вернется. Он же вернется, бабушка?

— Конечно, Владик. Раз веришь, стало быть, и вернется.

— Тетя Катя! — вскрикнула Аня. — Ну сколько можно говорить? Не обнадеживайте понапрасну!

— У Бога ничего не бывает напрасным, — покачала тетя головой. — Давай, Владик, помолимся за папку твоего. Завтра Рождество Христово, и мы попросим Его. И маму пригласи. Она сегодня не будет против.

— Мам, а мам! — заглядывает ей в глаза Владик. — Давай, а? — И опускается на колени рядом с бабушкой.

Тут уж, несмотря на раздражение, не посмела отказать и Анна. Словно где-то в отдалении, слышит она горячую мольбу тети к Богу, и скорбно аукается каждое слово в ее исстрадавшейся душе. Ах, на сколько рядов все это она уже переговорила сама с собой, добавляя в душу еще большие страдания. А сейчас добавится еще. И она пытается не слышать слов. Но вот в молитву вплелись какие-то чудные звуки, и ей кажется, что кто-то еще произносит эти слова. И она слышит их *в себе*. Дивной, волшебной музыкой доносятся они до нее, и становится вдруг пронзительно ясным то, что пытается ей донести Катерина: *«Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»*. Так вот Кто просит за нее! Господи, Боже мой! И припадает она с колен на руки, полностью отдаваясь Ему своей измученной душой. И шепчет в боязни показаться слишком дерзкой: *«Только бы Ты весть от него подал! Не прошу большего. Только весточку. Живой ли?»*

Тихо стукнуло что-то в сених, и глаза их вскинулись в недоумении. Да нет, хоть и славят ребятишки сегодня по селу, но они прекрасно знают, где им подадут, а где

подавать нечего. По ошибке, видать, кто-то в двери торкнулся. Но тут в избу вместе с клубами пара неуклюже ввалился мужик в расстегнутом тулупе.

— Извиняйте, хозяева, — пробасил он, пытаясь разглядеть в полумраке обитателей избы. — Не Орлова ли будешь, хозяйюшка?

Зашлось сердце, заколотилось в бешеном волнении. Никто здесь не знал ее по фамилии мужа. Давно она на своей, девичьей.

— От Сережи? — только и обмолвилась с дрожью в голосе.

— От него, мать. Весточку вот тебе привез. Держи письмо.

Подхватилась было она, да так и осела на лавку, сраженная таким скорым ответом от Бога. Обмякли ноги, не идут, будто к полу приросли. Один лишь Владик все сразу сообразил и заскакал по избе в ликующем восторге: «Я же говорил! Я же говорил!»

— Да вы проходите, раздевайтесь, — опомнилась Катерина. — Цас мы...

— Благодарю, мать, но меня ждут, — остановил он ее. — Через три часа на станции надо быть. Иначе тяжело мне придется. — И упредил вопросы. — Как нашел вас, долго рассказывать. Ваш Сергей меня от верной смерти спас, и я бы вас хоть под землей нашел, но выполнил бы его просьбу. Я после БУРа не жилец был, а он меня выходил. В санчасти заместо другого держал, пока я не оклемался. Если бы че открылось — ему крышка. Рисковал он. Это чтобы я вам от него весть передал, рисковал. Знал, что,

если освобожусь, сделаю. Я хоть и не политический, а честью дорожу. Скажу еще, что выживет он. Таких людей они не гробят. Все лагерное начальство у него лечится. А о житье-бытье сами прочитаете. Думаю, он все прописал.

И исчез так же неожиданно, как и появился. На дворе в санях его ожидали еще двое мужиков в таких же тулупах.

Уже и письмо читано-перечитано на сто рядов, и Владик уснул в твердой уверенности, что скоро папка привезет ему снегурки, а все сидят, склонившись над Библией, две женщины.

— «Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его», — тихо читает Катя, и капля за каплей западает каждое слово в душу Анны и наполняет ее новым, неизведанным еще чувством, которое и есть счастье. И нет ему границ! И что-то подсказывает ей, что это еще не все на сегодня. И не ошиблась: ближе к полуночи в избу вошел своей неслышной походкой Чеботарь.

— Еле дождался Рождества, — признался он, подсев к столу. И указал на рюкзак: — Вот, Владику не терпелось угодить. У закупщиков приобрел. Они на становище к орочам товар привезли, а там и эта пара погодилась. Орочам это ни к чему, а мне как раз. А? Как думаете?

Он вынул руку из мешка — и в тусклом свете керосинки матово блеснули... снегурки!

Звездный странник

Монотонное урчание трактора, гусеницы которого перемалывают лениво набегающую землю, и неяркое осеннее солнышко настраивали Булева на минорный лад. Но вот трактор нырнул в ложбину, и он машинально обернулся на прицепщиков.

«Не разморило бы пацанов», — подумал он, свистнул как можно громче и шутливо погрозил пальцем: дескать, не спать у меня.

Оба прицепщика весело откликнулись: Федька с дальнего плуга показал большой палец, а Гена с ближнего еще и выкрикнул звонко:

— Все в полном ажуре, дядь Артем!

«Полный ажур» — его излюбленное выражение, и парни нет-нет да и вставляли его в свою речь. Явно ему в угоду. Ну, дак что с того — знак уважения. И ему это очень нравилось.

«Молодцы, ребята. Работяги, что надо. Повезло мне с ними».

И тут же разулыбался от воспоминания. Потому что месяц назад думал как раз наоборот. Именно тогда механик привел их к нему, сказав, что им обоим «по шишнадцать». Помнится, Булев с подозрением оглядел подrostков: какие там «шишнадцать», когда от силы четырнадцать. Уж больно тощие оба да невзрачные. Особенно

не удовлетворил его вид Генки, веснушчатого, голубоглазого парнишки с копной белокурых волос. Худого, даже по сравнению с другом, который тоже далеко не богатырь. Но как говорится: «На безрыбье и рак рыба». Мужиков-то где теперь сыщешь?..

— Ну, что ж, пошли, — кивнул он им и беззлобно, по-дружески бросил: — На раме за воздух крепше зубами держитесь, чтобы не сдуло.

— Не сдует, дядь Артем, мы жилистые.

Вот те и не сдуло. Беда пришла, когда Булев уже и не опасался за ребят. С самого первого рабочего дня залюбил он этих парнишек: от работы не отлынивали, а уж как за трактором ухаживали — любо-дорого смотреть. Они прямо вылизывали агрегат. А стоит Артему полезть в мотор — оба тут как тут с расспросами: «где, что, для чего»?

Особенно Генка. Тот через неделю уже как заправский тракторист разбирал и смазывал детали, сам заводил трактор и со знанием дела прислушивался к мотору. Ну, это опять же в точь, как проделывал и сам Булев. И благостно становилось на душе у не очень-то и мягкого на характер тракториста. Главное же случилось, когда уличил он пацана за молитвой к Богу. Время было обеденное, и ребята, как правило, отдыхали каждый на своем рабочем месте. То есть, прямо на деревянной раме плуга. Сам же Артем не очень любил греться на солнце и всегда дремал в тени трактора. А в тот день будто мешало что-то: ну никак не мог он заснуть. Вот и решил в моторе покопаться. Тут он и увидел Генку. Увидел и —

опешил. Пацан стоял на коленях за плугом, уткнувшись лицом в ладони и, всхлипывая, просил о чем-то Бога. Артему стало неловко, что он хоть и невольно, но вторгся в чужую тайну. Да и Гена смешался от его неожиданного появления и быстро сел, подвернув ногу под себя.

Артем присел рядом:

— Ты умеешь молиться Богу?

Тот быстро закивал головой, вытирая глаза казанками пальцев.

— А как же ты молишься, если ни образа, ни иконки у тебя нет? — осмотрелся тракторист. — Где ж у тебя Бог-то?

— На небе, — просто сказал мальчик. — Он везде, только Его не видно.

— А, ну да, — смутился Артем. — А за кого ты молился?

— За маму.

— Чтобы че?

— Чтобы Боженька вернул мне ее. Она не виновата. Это Скобелик со зла ее оговорил. За то, что я ему лошадь прошлым летом не дал.

— Ты? Так это ты и есть? — недоверчиво присвистнул Артем.

Генка кивнул.

— Да как же ты Кобеля-то не испугался?

Пацан только пожал плечами и молча уставился на свои ноги.

— А ну, как поранил бы мужика?

— Не, не поранил бы. Он сразу такого деру дал, что я даже испугался.

— Во как! — усмехнулся Артем. — Оба, значит, перетрусили?

— Выходит, так, — улыбнулся и Генка.

Слух о том, что какой-то немчуренок оконфузил председателя сельсовета Скобелика облетел тогда всю округу. Он ведь не просто не разрешил ему взять колхозного скакуна для личной надобности, а еще и поднял вилы на Терентия, когда тот попробовал взять коня силком. Это был тот случай, когда большинство сельчан, хоть и молчаливо, но было на стороне мальчугана. Уж больно наглый был этот председатель. И подлый: не одну душу сгубил своими доносами. Шибко боялись его сельчане, и самые несознательные за глаза переименовывали его фамилию, называя Кобелем. А тут — на тебе! — пацан без роду, без племени насмех начальника поднял. Ну и не без злорадства судачили люди, что, мол, если бы не заголосил Тереха от страха, никто бы про то и не дознался. Так что опозорил-то он себя сам. Нешто мальчишка и вправду бы ткнул его вилами. Да не-е, ни в жисть. Это ж он так, для самообороны, видать, за них схватился. И в разговорах ни у кого даже и мысли не возникло упомянуть его национальность. Смелый парень — да и все тут! И вышестоящее начальство поняло настроения сельчан. На общем собрании колхоза так расчихвостили Скобелика, что только ай да ну! Аж целый выговор сделали: скакун-то действительно на весь район один такой, а он его в тягловую силу чуть не записал.

Но попросили народ оставить мужика в должности: дескать, опыт у него и все такое прочее. Тут и Терентий рванул на себе рубаху и рубанул правду-матку, что, мол, правильно оголец поступил. Так, мол, мне и надо. И такой он сам смиренный тогда сделался, что тут же его и пожалело все собрание: пусть, мол, работает, раз уж так вник да раскаялся.

А он, значит, вон как раскаялся. Выждал время и отомстил пацану, засадив его мать в тюрьгу. Усугубилось-то дело еще тем, что она прилюдно отбрила его ухаживания. Тут он и вовсе взъярился. Правда, вид сделал, что вроде шутя это он к ней приставал. А осенью пропали у нее три годовалых бычка. В том, что с фермы их умыкнул именно он с братом-алкоголиком, никто не сомневался, но вот нашли же одну шкуру в доме у Марты. И скорый на руку суд определил ей три года тюрьмы. Знал кое-что о том деле Артем; и побольше знал, чем большинство сельчан. Но равно, как и то самое большинство, предпочел смолчать. Своя рубашка, она ближе к телу. Но что Генка и есть тот смельчак...

— М-да. Отыгрался, значит, Терентий. Ну, а где же теперь твоя мамка?

— На лесоповале. Она уже письмо прислала.

— И че пишет? Можно там жить?

— Можно. Ей это не впервой, — по-взрослому рассудил Генка. — Только она сильно об нас с мамой сучает.

— Как это «с мамой»? У тебя две мамки, ли че ли?

— Ага, — расплылся в широкой улыбке мальчуган, — две. Мама и еще мама старенькая.

— У-у, брат, да ты счастливый. У других вон и одной нету.

— Счастливый, — согласился Генка. — Вот скоро мама вернется — и опять все ладно будет.

— Три года, Гена, это не очень скоро. Ей ведь три дали?

— Она не будет столько. Ее скоро отпустят.

— Да как же тебе знать про это? Оттуда, милоч, раньше не выходят. Позже, так это, пожалуйста.

— А ее отпустят, — упрямо повторил Генка. — Она не виновата. Мы все молимся за нее.

— Э-эх, Гена, ты Гена, — пожалел Артем пацана. Потом воровато оглянулся, словно кто-то мог его здесь подслушать, и склонился к самому уху мальчишки: — Да если бы по молитвам всех отпускали, у нас и тюрем бы не было, понял? Одними молитвами делу не поможешь.

— Поможешь, дядь Артем. Мы вон за папку сколько лет молились, и он отыскался. Бог все может, только просить Его шибче надо.

— Папка? — вскинулся Булев. — Так у тебя и отец живой? И где же он?

— Теперь не знаю, — потупился Генка. — В прошлом году от него три письма было, а в этом опять ничего нету. Может быть, потому, что мы переехали, не знаю. Только он тоже скоро приедет. Мама говорила, что раз папка нас по почте разыскал, то по готовому-то адресу уж и искать нечего. Приедет он, обязательно приедет, — уверенно подытожил он и мечтательно вскинул глаза к небу.

— Я вот только гадаю, кто из них первым вернется: мама или папка...

В его голосе не было и намека на сомнение в их встрече, а в глазах отражалась синева небес, таящая в себе радость ее ожидания.

— Ну, дай-то Бог, дай-то Бог, — пробормотал Артем и нерешительно откашлялся: — Ну, это... раз уж ты все равно молишься, помолился бы и за меня, а? Может, отстанет от меня цыганское проклятье. Ты ведь слышал, наверное, как цыганка наслала на меня порчу. Я бы проклятью и не верил, да только что-то беда за бедой у меня на дому идет. То корова потерялась, то курица сдохла, теперь вот Маня, жена моя, шибко захворала — как не поверишь.

Ты передай матери, ну, старенькой своей. Пусть она помолится.

— Я передам, — серьезно сказал Гена. — Только ты и сам тоже молись, тогда всякая хворь с тети Мани уйдет. И корова найдется.

— Это, конечно, Гена. У меня в углу и образок есть. Молюсь я.

— Ты не только на образок, ты везде молись. Бог, Он про все слышит.

— Может, и про все, — уклончиво согласился Булев. — Но тут уж не до коровы, хоть бы старуху отпустило. — Он поднялся и шагнул к трактору: — Так говоришь — везде молиться? И в поле?

— В поле особенно. Вон здесь простор какой! И везде — Бог.

— Ну-ну, посмотрим, как нас слышат. Буди Федьку.

И было чудо Артему: на третий день после их разговора выздоровела жена. Да так выздоровела, что будто и не болела вовсе. И сомневается тракторист: то ли и, правда, молитвы помогли, то ли потому что отыскалась в тот день корова. Девка одна привела ее из дальней деревни, а уж как буренка туда попала — поди догадайся. Но как бы там ни было, а проклятью цыганскому пришел конец. В это он поверил безоговорочно. И на Генку смотрел теперь с большим уважением.

Он еще раз полуобернулся и именно в эту секунду увидел, как автомат подъема захватил рукав фуфайки и швырнул зазевавшегося мальчишку под плуг. Не обернись Булев в тот момент, вряд ли расслышал бы отчаянный крик Федьки. В считанные секунды очутился он у плуга и высвободил Генку. Аккурат по груди переехало колесо, сильно вдавив его в рыхлую землю. Мальчик стонал, стискивая грудь руками и судорожно хватал ртом воздух. Лицо его исказила боль.

— Больно, — слабо шептал он. — Видать раздавило меня до смерти.

Артем положил его на раму на фуфайку и обернулся к Федьке.

— Лети в деревню, к Михеичу, — прерывающимся голосом приказал он. — Пусть подводу с Настей пошлет. Да лесом, лесом, через колок беги. А ну, кто встретится по дороге. Давай, Федя, шибче беги.

А Федьке это и указывать не надо: припустил так, что только пятки засверкали.

— Ниче-ниче, — бормотал Артем, легонько массируя грудь мальчика, — какой там до смерти. Руки-ноги целы, остальное заживет. Как же так выходит, что ты меня отмолил, а сам в беду попал, а?

Постепенно дыхание мальчишки выровнялось, он уже не кривился от боли, но в какой-то мучительной тоске смотрел в небо. Там в сизой дымке при закатном еще солнце уже обозначился бледный месяц, и Гена не сводил с него глаз. Вдруг он резко приподнялся, схватил Булева за руку и зашептал горячечно:

— Дядь Артем, ты не увози меня отсюда, а то папка не найдет меня. Не увози, а то разминемся мы с ним. Или не веришь?

— Ну, как же, как же, верю, — голос Артема дрожал. — Я, Гена, всему у тебя верю. Да ты лежи, лежи. И не разговаривай больше. Трудно это тебе.

Гена благодарно кивнул и закрыл глаза:

— Спасибо. А то я так ждал, а он бы мимо проехал.

Сквозь опущенные ресницы Гена увидел, как набежавшие облака скрыли на мгновение блеклый месяц и он быстро-быстро поплыл по небосводу, то ныряя в облака, то появляясь в разверзающихся между ними небесных прогалинах, будто гнал его ветер по седым волнам океана. Не успел он удивиться такому явлению, а его уже и самого закружило вместе с рамой и понесло по тем волнам с бешеной скоростью, и он, кувыряясь, полетел в черную бездну. Смотрит, а это и не рама вовсе, а колыбелька его детская, в которой его мама баюкала.

Да и летит он не в бездну, а прямо к месяцу. Вернее, не прямо, а ловко так по спирали: виражами, виражами куролесит, аж дух захватывает — он звездный странник! Вот уже и вокруг месяца облетел. И понял, куда и почему летит: там рядом с месяцем белое пушистое облачко-одеяльце присоседилось, а края его нежно-розовой бахромой оторочены. Это оно таким неправдоподобным, просто немислимим преломлением лучей закатного солнца расцветилось. Так и утонул Гена в перинке небесного покрывала и закачало его в той лучезарной тиши небосвода, забаявало. И чуть слышно поет ему таинственный голос, в котором он различает только свое собственное имя. То имя, которым в самом раннем детстве называли его родители.

— Heini... Heini, — нежно выводит голос. Только отчего-то он не мягкий мамин, а глуховатый мужской. Но оттого не менее ласковый. И неведомые руки туго пеленают его. — Heinrich... Heinrich...

Ах, как не хочется пробуждаться. Все же Гена сделал над собой усилие и открыл глаза.

* * *

Вид случайного попутчика заинтриговал Степана еще там, на станции. Оно, конечно, выправка у мужика военная, но в кожу на руках настолько угольная пыль въелась, что это еще вопрос, откуда этот субчик явился. Очень даже может быть, что из зоны. Много их в последнее время возвращалось в родные места. Только в родные ли? Не похоже было, чтобы этот подтянутый вежливый мужчина — Степана на «вы» называет, виданое ли де-

ло! — был из этих краев. Да и говор не местный, протяжный какой-то.

Единственное, что пока Семькин узнал о нем, это то, что зовут его Василий и ему надо попасть в Шестаково. А кто там и чего там — неведомо. Мужик не доложил, а он не спросил.

Сам замкнутый и неразговорчивый, попутчиков Степан любил из говорунов. Чтобы самому, значит, только слушать да головой кивать. А с этим вот уж верст десять отмахали от Заводоуковска, а перекинулись всего-то двумя-тремя фразами. Так что волей-неволей пришлось ему самому разговориться.

— Я смотрю, издалека ты к нам пожаловал, — начал он с вопроса, который должен был озвучить примерно час назад. — Не с Кузбасса ли?

— Не-ет, — улыбнулся тот неизвестно чему и оперся руками о верх телеги. — Из-под Москвы еду. Город такой там есть — Тула.

Степан даже вожжи бросил и обернулся к нему всем телом.

— Москвы! — само это слово наводило на сибиряка благоговейный трепет. Оно означало для него что-то невообразимо грандиозное и торжественное, что находилось за тридевять земель. Куда на телеге не доедешь за всю жизнь. — Аж оттуда? И в самой Москве бывал?

— Бывал. Я оттуда на фронт уходил, — просто сказал Василий.

— Так ты воевал? — стушевался возчик и искренне признался: — Ая, пень старый, грешным делом подумал,

что ты — зэк. Вон руки-то у тебя. Это же кто в забое мантулит, у тех...

— А я на шахте и работаю, — снова улыбнулся попутчик. — Седьмой год как без выходных и проходных.

— А говоришь, воевал? — озадачился Степан.

— Воевал. Только недолго: быстро списали.

— По ранению, — догадался Семькин. — И кто ж у тебя тут?

— Жена с сыном. Вот как раз эти семь лет и не видел их.

— Это кто же? — попытался догадаться Степан. — Не...

Он не договорил, заслышав отчаянный крик. Со стороны ближайшего перелеска по пустоши бежал какой-то паренек и вовсю размахивал руками.

— Э-э, да там что-то сурьезное стряслось. Сломя голову шкет летит.

Запыхавшийся Федька подбежал да так и обвис на телеге:

— Дяденьки, там прицепщика плугом раздавило. Во-он там, за колком. В больницу бы поспеть довести.

— Э-эх, ты, мать честная! — Степан без расспросов посадил пацана в телегу и, взявшись за уздцы, стал заворачивать коня. Потом вспомнил о попутчике. — А ты как, поедешь? Дело-то, видать, будет долгое.

Попутчик не колебался ни минуты:

— Я с вами. У меня насчет первой помощи навык имеется.

— Вот это куда с добром! — повеселел Степан. — Это по-нашему. Глядишь и спасем человека.

И телега затряслась прямо по бурьяну. За колком Федька показал Степану на стоявший вдали трактор.

— Вон он. Гони пока повдоль, а то тут овраг. Его обогнем и напрямки.

Василий с какой-то затаенной грустью разглядывал пацана. Такой же вот, наверное, уже и его сын. Он достал из вещмешка самый настоящий крендель и протянул его Федьке. Тот засмутился, но взял с радостью. Взял и... удивленным взглядом застыл на незнакомце, словно увидел какое-то чудо. Даже поблагодарить забыл. И тот понял, что дело тут вовсе не в кренделе. И защемило грудь в неясном предчувствии.

— Дядь, а дядь, а я тебя, кажись, знаю, — тихо сказал Федька и махнул рукой в сторону трактора. — Вы с ним так похожи. С Генкой-то. Это ж его...

Дальше Василий не слышал. Он слетел с телеги и огромными прыжками помчался через овраг в поле. Еще издали на раме плуга он увидел накрытое фуфайкой тело и суetyящегося рядом мужика.

— Heini! — припал он на колено у рамы. — Сыночек мой!

«Не может быть, — ахнул про себя Артем и так и присел у плуга. — А ведь вымолил пацан отца!» Потрясенный увиденным, он начал быстро-быстро креститься. Его примеру последовал и подоспевший Степан. Федька часто-часто моргал, пытаясь удержать душившие его слезы.

— Heinrich, — шептал Василий, раскачиваясь всем телом.

— Живой он, — тронул его за плечо Артем, — живой. Помяло малость. Тут вот на груди. Перетянуть бы его. Есть у тебя че-нибудь?

Василий снял с себя белую нательную рубаху, показав глубокие шрамы от ран на оголенном теле, разорвал ее и туго спеленал сына, не переставая повторять его имя. И Генка открыл глаза.

Уже более отчетливый месяц стоял на том же месте и рядом с ним то самое облачко с розовыми краями, в котором он только что купался. И не может понять звездный странник, где он есть.

— Очнулся, очнулся, — слышит он радостный голос Федыки, и кто-то склонился над ним, загораживая месяц. Лица было не разобрать, но Гена уже знал, кто это, и когда он снова позвал его по имени, попытался улыбнуться:

— Пап, мы теперь за мамой поедем?

— Да, сынок. Поедем. Я так долго вас не видел.

...Телега неспешно катила по пашне. Гена лежал на соломе, вслушиваясь в негромкую беседу отца с возчиком. А на меже в молитве стоял на коленях Артем.

— Господи, прости мне страх мой. Вечером же все обскажу участковому о Скобелике. Чтобы не страдать невинной душе.

Первое покаяние в той глуши.

Истинное покаяние.

Прощеный хлеб

В свои восемь лет Вова Фурман уже достаточно побродил по белу свету. Украина, Польша, Германия... Этот путь, только в обратном порядке, пришлось ему проделать уже во второй раз. Как, впрочем, и многим его сверстникам. И не сказать, чтобы происходило это по воле их родителей. Совсем наоборот: ни туда ехать, ни оттуда возвращаться — желания на это у них никто не спрашивал. Каждый раз этот вопрос решали за них другие люди. В середине войны немецкие власти переселили их с Украины в Германию; теперь вот, после победы, советская власть возвращала их... Куда? Говорили — домой. Оказалось — не совсем. И если тот, первый путь в Германию, занял в общей сложности не больше двух недель, хоть и ехали они на подводах, запряженных быками да коровами, то обратный, по железной дороге, — о, это вам не гужевой транспорт! — показался им вечностью. Потому что катили они из города Халле до славного города Нытва, что в Пермской области России, аж пять месяцев! И прибыли репатрианты на место лишь в конце октября. Среди них была и семья Вовы: мама, три сестренки и сам он — единственный мужчина в семье. О том, где находится их отец и жив ли он, они не имели понятия. Как забрали Эмиля в армию вермахта при тотальной мобилизации, так с тех пор о нем

ни слуху, ни духу. Забрали его несмотря на его полную непригодность — он был напрочь глухим, да к тому же, будучи глубоко религиозным, отказывался брать в руки оружие. Так что сгодился он лишь где-то в обозе. О какой уж там весточке может быть речь...

Потому-то и остался Вова единственным мужчиной в семье. Только вот по приезде в Нытву создал этот «мужчина» большие проблемы. Да оно и понятно: по-пробуй-ка усидеть в течение пяти месяцев на одном месте, когда энергии в тебе на десятерых! Он и с рождения-то был непоседой, а тут как законсервировали мальчишку. И вот, закончилось наконец длительное вынужденное бездействие — по вагону много ли побегаешь! — и вся энергия вырвалась наружу. В общем, носился пацан целыми днями как угорелый: ни еды не надо, ни одежды. Даже домой калачом не заманишь. А если и заманишь, то бегаёт наперегонки с другими пацанами по коридору барака; благо, коридор тот, что твоя стометровка. Длиннющий, с комнатами по обе стороны. А в середине барака плита кухонная. Женщины на ней из ничего пытаются сварить что-то.

Вот он однажды и налетел с разбегу на одну из женщин и опрокинул на себя ее кастрюлю с кипятком. Всю грудь Вовке ошпарило, да как-то еще на голову не попало! Тогда-то уж точно бы не жилец был. Лекарство от ожогов по тем временам было одно доступное: сырая тертая картошка. А где ее взять, если даже суп сварить не из чего? Тогда и пошла его мать Евгения на базар менять свои вещи. Надо сказать, что каждая семья

привезла с собой кое-какие вещи из Германии, и спрос на эти вещи на базаре был. Ну, глаз у торговки наметанный: эта клуша деревенская отдаст за столько, сколько ей дадут.

И первая же из них, как увидела кофточку заграничную, так и вцепилась в нее. И вот, мол, тебе маленькое ведро картошки и благодари, что не отказала. Видит Евгения, что мало этого будет для лечения сына, да и понимает, что обманывают ее. Но вот же горе: по-русски-то уж больно она плохо говорила, оттого и торговаться стеснялась. Попробовала было объяснить о беде своей, но то ли вышло недоходчиво, то ли торговку не убедила, только та ни в какую: бери, мол, пока я добрая, другие и того не дадут. И, видя нерешительность немки, кинула в ведро от щедрот своих еще пару картофелин. Прием беспронимчивый. После такой «жертвы» даже умудренному покупателю трудно на своем настаивать. Оглянулась Евгения беспомощно и уже приготовилась, было, пересыпать картошку в мешок свой, как вдруг вмешалась наблюдавшая за ними пожилая женщина в сером вязаном полушалке.

— Пстой, пстой, — придержала она Евгению за руки и к торговке с укоризной в голосе: — У тебя, девка, совесть есть? Что ж ты человека-то дуришь? Не слышишь, беда у нее: сын кипятком обварился! Или креста на тебе нет? Ты ж не крохобор какой. Ох, Полина, ты, Полина. Худо это.

— А твое какое дело? — взвизгнула торговка. — Иди, куды шла.

— Я-то пойду, — спокойно ответила женщина. — Только ты кофточку ей верни. — И Евгении с помощью знаков. — Возьми, матушка, мы сейчас тебе другого продавца найдем. Получше, да посговорчивее.

— Стой, стой, ты сама-то кто ей такая будешь? — испугалась торговка и зачастила: — Рази так торгуются-нет? Чего так сразу-то и к другому? На, вот, бери большое ведро, раз беда така. Неуж мы не люди. Да бери, бери, че глазами по сторонам лупашь! Лучше моей картошки нету!

Но Евгения смотрит теперь уже не на торговку, а на неожиданную помощницу, как бы спрашивая, что ей делать. Заступничество незнакомки придало ей уверенности, да и поняла, что не расстанется торговка с кофточкой. Вон как вцепилась в нее. Так, может быть, добавит еще.

— А картошка здесь у всех хорошая, — невозмутимо говорит ее заступница, вызвав одобрительную реакцию других торговок, с любопытством ожидавших развязки. Этих слов было достаточно, чтобы привлечь их на свою сторону. По неписаному их уставу, они не должны были вмешиваться в торг, чтобы не набивать цену.

Но теперь сама Полина выставила свой товар в выгодном для себя свете, и они с осуждением поглядывали на нее. Каждая из них готова была приобрести заграничную «штучку» за более высокую плату. Уж больно вещь-то красивая! Одна молодуха даже высказалась вслух, что, мол, зачем ей (то бишь, Полине), такая модная вещь, если она ей идет, как корове седло. Та мгно-

венно учуяла перемену в настроении товаров и поспешила оставить их ни с чем.

— Держи куль-то свой, подруга, — деланно-радушно приказала она Евгении. — Вот тебе ишо и маленькое ведро. Теперь хватит?

— Это, Поля, по расчету, может, и хватит, — подобрела заступница, — но ты могла бы и от сердца своего чего-то добавить.

— Да ну вас, совсем, — уже другим, чуть дрогнувшим голосом протянула торговка, и положила в куль морковки и вилок капусты. — Это от меня сыну твоему. Пусть выздоравливат, — пояснила она немке, ткнув рукой сначала в себя, потом указав на нее и куда-то вдаль, где, по ее мнению, должен был быть ее сын.

Евгения в признательности прижала руки к груди, завязала мешок тесемкой и повернулась, чтобы поклониться своей заступнице. Но той и след простыл. Она в растерянности посмотрела на торговку. Та поняла.

— Вон она, — показала она рукой на удалявшиеся от базарчика сани. — Теперь уж не догонишь.

Вскинув мешок на спину, Евгения поспешила домой, добрым словом поминая неожиданную свою заступницу. Не раз и не два рассказывала она своим детям о той доброй женщине, неизменно заканчивая словами: «Мне ее Бог послал, а я и отблагодарить не успела. Без нее-то что бы мне дали за эту кофту? Полведерка». И сильно сокрушалась на этот счет.

...Помогло немудреное народное снадобье: ошпаренная кожа быстро затянулась коростой. Правда, за-

живление сопровождалось таким зудом, что терпеть его Вовке было невыносимо.

– Терпи, – приговаривала мама, – Христос терпел и нам велел.

И Вова терпел. Хоть и довольно смутное, но представление о Христе и Его страданиях у него было. Правда, не совсем понимал, почему Иисус не сошел со креста и не надавал всем по шапке. А он, Володя, сильно этого хотел и всегда в воображении направо и налево колошматил обидчиков Христа. Эх, если бы сейчас это происходило, уж он-то не дал бы над Ним изгаляться. Он бы показал им, где раки зимуют. Эти свои соображения он не замедлил высказать маме, но она почему-то не одобрила его энтузиазма. Наоборот, сказала, что он должен учиться у Христа смирению, потому что, мол, только смиренных примет Он в Свое Царство Небесное.

Это привело Вовку в еще большее сомнение: по опыту он знал, что как раз смиренным-то и достается больше всего от драчливых сверстников. А он спуску не давал никому. Так что выходит – его Христос не примет? Мамины дальнейшие объяснения не вносили спокойствия в его мятущуюся душу, и он затаился на время. Теперь, имея в друзьях русских пацанов, он не понимал еще одного: почему Рождество Христово они, немцы, встречают раньше, чем русские. Иисус что – два раза родился? И поскольку мама толком не смогла ответить, обратился с этим вопросом к старому Вибе, соседу через стенку. Старик озабоченно поскреб затылок под неизменной фуражкой, как бы силясь вспомнить что-то.

Вспомнил, улыбнулся и стал рассказывать. А уж рассказчик он был! Всякое событие обставлял так, словно сам принимал в этом участие.

— Видишь ли, как дело-то было: расположились как-то пастухи в поле у костра кругом. Это они завсегда так садятся, чтобы обувку свою подсушить. Ну, разговоры всякие ведут, то да се. А тут откуда ни возьмись — ангелы с неба. Так, мол, и так, Христос в мир родился. И там-то, и там-то в яслях спеленатый лежит. В общем, Благою весть ангелы принесли. Так это называется. А пастухи — кто? Ясно, что русские да немцы: кому еще в пастухах ходить? Ну, они и давай скорее обувку надевать. Торопятся. Только немцу долго ли: он ноги свои в трепы сунул — никого ни мотать, ни привязывать не надо! — да и бежать. А русский? Ого! Пока-а это он обмотки наматает да лапти обует — время-то и ушло. Ты же вон сам в лаптях, знать должен, сколько времени теряется при обувании. Потому-то немец и увидел Христа раньше. Он уж назад к костру идет, а русский только-только ему навстречу. Ясно, что по-разному с тех пор Рождество и встречают. — Тут старик хитро подмигнул: — Ну, а раз ты, Вовка, хоть и немец, но ходишь в лаптях, то ты и Рождество Христово встречать можешь два раза. И тогда, и тогда, понял? Вреда для тебя тут никакого не будет, одна большая польза.

Такое обстоятельство Вовке сильно понравилось, он даже зауважал свои лапти и перестал их разбрасывать где попало, а наоборот, на ночь стал ставить их рядом с нарами. Ну, побыстрее обуваться чтобы. Что касается

подарков, то какой-никакой, но гостинец он на Рождество всегда находил под подушкой. А потом еще и бегал славить морозным январем по домам Нытвы с другой ребятней. С удовольствием бегал. И всегда удивлялся приветливости даже тех людей, к которым в обычный день он боялся подойти: настолько они вредные были. А в этот день почти все становились другими. Добрее, что ли.

За эту тяжелую зиму все мало-мальски годные вещи ушли у них в обмен на продукты. А уже в апреле высыпало все население бараков на поля в поисках прошлогодней картошки. Мероприятие сие называлось «идти на масак» или «масачить». Откуда появилось это слово, никто не знал, но смысл его понимал любой. Найденную мерзлую картошку отмывали от грязи и прокручивали на единственной на весь барак невесть откуда взявшейся машинке. Ну, а уж к полученной массе добавляли отрубей, либо чего-то еще другого и пекли что-то наподобие оладьев. В общем, худо-бедно, но пережили голод. Летом же сорок шестого нарезали каждой семье по двадцать соток земли за речкой, и кто не поленился, получил со своего огорода по осени приличный урожай. «Не поленился» тут сказано потому, что прошел слух среди немцев: отпустят, мол, всех в родные края. На Украину, значит. А то и вовсе даже в Германию. И нашлись доверчивые, которые именно поэтому не стали сажать огорода. Так зачем, если все равно уезжать? Но большинство уже давно не верило в подобные сказки и трудилось на огородах не покладая рук. Именно так и трудилась семья

Вовы. И всегда просила мама Божьей помощи. По крайней мере, защитили они себя от очередного голода.

Декабрьская реформа 1947 года на первых порах еще больше усугубила бедственное положение простых людей. Все продукты были буквально за один день сметены с прилавков магазинов. Где всего было вдосталь — так это на базарах. Но там цены были такие заоблачные, что лучше было туда и не ходить.

Самое страшное — не хватало хлеба. Очередь за ним в каждый магазин занимали с раннего утра и к моменту продажи, то есть к обеду, а то и ближе к вечеру, она достигала не менее двухсот человек. А поскольку обе старшие сестры Володи работали на заводе, а у мамы на руках была еще трехлетняя Эльза, то все хлопоты по доставке продуктов лежали на нем. С отменой карточек стало еще хлопотнее, но после одного-двух сбоев он приноровился и к этому ритму.

Своей энергии Вова и после «душа с кипятком» не растерял: только гонял он теперь не по барачному коридору, а по школьному. Вот уж где он отводил душу! Однако и тут своя опасность. Тут хоть и не обваришься, но ухо надо держать остро, чтобы не попасть на глаза кому-нибудь из учителей. Попадешься — и тут же в дневнике появляется жирная единица по поведению. Впрочем, дневник он никому не показывал. Сестрам было не до него, а мама все равно бы ничего не поняла: она была неграмотной. А там, между прочим, были записи и для нее; и если бы она могла их прочитать, давно бы проторила дорожку к его учительнице.

В тот день перед Рождеством с самого утра что-то не заладилось у Вовы. То лапти куда-то запропастились, еле нашел, то за чернильницей пришлось воротиться. Вроде и очередь за хлебом не поздно занял, а вернулся из школы — и нету той тети, за которой занимал. Он к одной, к другой, что, дескать, не за вами ли я занимал? Нет, говорят, не за нами. И блюстители очереди предусмотрительно дорогу загораживают, чтобы он дуриком вперед не пробрался.

Во второй раз занимать сегодня бесполезно: очередь такая длиннющая — не достанется хлеба. Но прийти домой с пустыми руками — даже помыслить невозможно. Сами-то они с мамой могли бы и потерпеть, не впервой, а вот младшей Эльзе попробуй объясни. Да и старшие сестры с работы придут голодные. Эх, хорошо с карточками было! Паек хоть и скудный был, зато гарантированный. Но недаром он снабженцем семьи значился: в самых отчаянных ситуациях всегда выход находил.

Тут, главное, до дверей магазина добраться, а там уже легче. Оттуда внутрь запускают по десять человек. Но как к двери пробраться? Повертел головой, приметил у самых дверей пожилую тетеньку и так и просиял в улыбке.

— А, — кричит радостно, — вон где я! — И шмыг между оторопевшими стражами к самой двери наперед той отмеченной тети.

— Ты куды это, пострел? — схватил его какой-то дед в треухе.

— Куды надо, — огрызнулся Вова, а сам не спускает жалобных глаз с тети. — Это же вы за мной занимали, правда? Скажите им.

Русским языком десятилетний Вова еще не блещет, но говорит сносно. Пожилая женщина отчего-то тяжело вздохнула.

— Правда, — говорит она очереди. — Убежал он. Упреждал, однако, что вернется. — И руку Вовке на голову положила. А глаза грустные-грустные. Вова признаательно посмотрел на нее и совсем было уж успокоился, но тут один мужик, выйдя из магазина, прикинул что-то в уме и громко крикнул кому-то своему в конец очереди:

— Можешь не стоять. Человек на двадцать-тридцать только и хватит.

Это спровоцировало всех: толпа ринулась к дверям и вмиг оттеснила от них тех передних, в числе которых был и Вовка. И хоть ему и удалось сориентироваться и наработанным методом — под ногами толпы — все же пробраться к прилавку, но было поздно: хлеба ему сегодня не хватило. Невозможно даже описать состояние обиды, охватившее мальчишку! В любой другой день это еще куда ни шло, но остаться без хлеба на Рождество... Он чувствовал себя кругом виноватым, и весь мир его желаний сузился до одного-единственного: достать хлеб. Ну, было бы желание. А на ловца, как известно, и зверь бежит. Тут как тут подкатывают к нему двое знакомых мальчишек: Генка с Борей. Оба старше его, но тем приятнее их внимание. Они же подошли с умыслом, рассчитывая на его пронырливость.

— Че, не досталось? — участливо спрашивает Генка.

— Не-а, — сокрушенно качает головой неудачник.

— Эта-а, — шмыгнул носом Боря, — можно достать в одном месте.

— Где это? — оживился Вовка.

— Только уговор: ежли дадут тебе — довесок отдашь нам. Идет?

— А то! Ну, где?

— Да вон, в учительском, — кивает головой Борька. — Ты же знаешь, как твою училку зовут.

— Ну? — не доходит до Вовки.

— Ты че, дундук? — искренне удивился Генка. — Заходишь в магазин чин-чинарем: так, мол, и так, моя училка послала хлеб купить. А? Дошло?

Вовка так и застыл с раскрытым ртом. То, что для учителей открыли магазин, он знал. Но что можно таким вот образом достать хлеб — даже не подумал. И в душе мальчика настоящий сумбур: и хлеба хочется, и боязно. Одно дело добиться цели своими собственными силами, пусть и не совсем по правилам. Другое — обманом. Тут — он знал это точно! — мама по головке не погладит. Тут от нее наказание схлопотать можно.

У тех двоих, однако, это никаких угрызений совести не вызывает. И сомнений в Вовкином согласии нет. Да и с чего бы им быть?!

— Если дадут, чур, мне корочку с довеска, — заказывает Генка.

— Пусть, — Боря не против. — А мне тогда весь мякиш. Ну че, пошли?

Теплая запашистая булка хлеба предстает перед Вовкиными глазами: вот она — только руку протяни. И он протягивает, и с наслаждением отщипывает от нее твердую корочку. О-о-о!

— Пошли! — шепотом соглашается он, сглатывая слюну, и, весь в каком-то трепетном ожидании, плетется за друзьями. Вот и магазин.

— Мы на атасе, — подтолкнул его Генка к дверям и вслед за Борькой благоразумно спрятался за угол дома.

Внутри магазина пусто. Продавщица лишь мельком взглянула на вошедшего пацана и продолжила щелкать костяшками счетов.

— Тебе чего? — спросила строго.

— Эта-а... хлеба, — к противной дрожи в коленях прибавилась дрожь в голосе. — Хлеба, для Нины Андреевны. Ну, эта-а... послала она меня.

— Нина Андреевна? — женщина отложила счета и с любопытством посмотрела на мальчишку. — Ну, хорошо, давай записку.

— Че? — совсем осип Вовка. Щеки, уши, нос — все лицо его горело.

— Записка, говорю, от нее где?

— Дак это... она просто так послала, — в неодолимом желании удрать как можно быстрее, он попятился к двери. Но на его беду в магазин вошла директор школы в своей дорогой шубе и как раз дверь-то и загородила. Из-за этой массивной шубы у нее и было прозвище Топтыга. Впрочем, медведицу она напоминала не только шубой, но и своей внушительной фигурой. Впервые в

жизни у Вовки появилось желание провалиться сквозь землю. Она помнила по именам всех учеников, кто хоть раз имел счастье попасть ей на глаза. А он за свою беготню по коридору школы имел такое счастье не раз. Директором она была очень строгим и боялись ее исключительно все: и ученики, и учителя. Вовкина душа отправилась в пятки искать спасение.

— Ну-с, кто тут кого послал? — внимательно посмотрела она на него.

— Да вот, говорит, Нина Андреевна за хлебом послала, — хмыкнула продавщица. — Врет, конечно.

— Это как понимать, Фурман? — грозно подбоченилась Топтыга, сделала шаг от двери и нараспев протянула: — Са-аветский школьник и — мошенничать! Та-ак. Сейчас же пойдешь со мной к Нине Андреевне.

Вовка так и врос в землю: все, только не это! Ведь он, нужно сказать, любил свою учительницу: сколько раз Нина Андреевна защищала его перед директором. Да и вообще никто не относился к нему с такой заботой, как она.

— Сам бы он не додумался до этого, — вступилась за него продавщица и неопределенно кивнула головой куда-то в сторону. — Он же из этих вон. — И, неожиданно резво перегнувшись через прилавок, попыталась ухватить его за ухо. — А ну, признавайся, кто подучил?

Вовка увернулся, ловко прошмыгнул мимо директрисы в дверь и со всех ног помчался домой. Там его уже поджидали незадачливые подстрекатели. Они-то удрали еще раньше, едва завидев направляющуюся в магазин

Топтыгу. Теперь их волновало лишь одно: «не продал» ли их друг Вовка. И ушли, успокоенные отрицательным ответом, пообещав на прощание тоже не выдавать его. Ну, если вдруг, мол, что да как... Солидарность, а как же!

Но у Вовки от этой солидарности на душе скребли кошки: мало того, что без хлеба остался, так еще и вляпался в историю. В том, что все это станет известно матери, он ни капельки не сомневался, и уши горели еще сильнее. Теперь уже не от страха — от стыда. Что же теперь делать? Не решаясь идти домой, он стал бродить поодаль от барачков. И пришло мудрое решение: самому признаться учительнице. Вот только когда? Ну, это просто узнать. Надо зажмурить глаза и, разведя руки в стороны, попытаться свести их так, чтобы указательные пальцы столкнулись друг с другом. Встретятся — нужно идти к ней сейчас же, разойдутся — стоит повременить до завтра. А вдруг да забудет Топтыга сообщить учительнице! Да, не зря говорят, что надежда умирает последней. Ну, пальцы, конечно, не встретились, и Вовка, облегченно вздохнув, решил наконец-то идти домой. У самого барака его окликнули:

— Вовка, а Вовка, подь сюды! — услышал он голос старика Вибе. Этому деду никакой мороз нипочем: ему что сорок, что пятьдесят градусов — он у своей драной шапки даже уши не опускает. Вот и сейчас: сидит себе на крыльце барака в своих ватных штанах и, задрав голову, изучает небо. — Смотри! — восторженно показывает пальцем. — Видишь-нет?

Что там нужно увидеть? Володя поднял голову и, кажется, понял восторг старика. Не в зените, а чуть вдали на небосклоне, он увидел звезду. Хотя еще довольно светло, она одна-единственная на все небо — и оттого яркая до невозможности, — льет на землю свой холодный, таинственный свет. Прямо над ним плывут пепельно-лиловые облака с розовой от закатного солнца расцветкой по краям.

У самого же горизонта, на совершенно ясном бледно-голубом небе этой подсветки куда больше: узенькой прерывистой цепочкой вытянулись там розовато-сиреневые облака.

И вот уже с разбегу схлестнулись с ними те пепельно-лиловые и, громоздясь одна на другую, за клубились дымящейся лавой с языками пламени внутри: ни дать, ни взять извержение вулкана. Здесь же, на чистом небе, остались белые, с дымна островки, и звезда горит среди них в гордом одиночестве. Необычайное, завораживающее зрелище, и, несмотря на усилившийся мороз, Вова не скрывает восхищения. Это уловил и старик.

— Ага, видишь, — удовлетворенно констатировал он и сообщил доверительно: — Это тебе, Вовка, не простая звезда, а та, которую видели пастухи в Вифлееме. Рождественская, понял? Помнишь, я рассказывал?

Вовка согласно кивнул.

— Вот через нее-то Христос все про нас и знает, — продолжил старик. — Смотри, как она нам мигает. Видишь? То-то! Сегодня она особенно прозорливая. Что ни сделаешь — все увидит и в книгу небесную запишет.

– Все-все? – поежился Вовка. – И как я за хлебом ходил?

– Все как есть, – подтвердил старик. – А ты, похоже, набедокурил, а? Ну, да, я же вижу, кругами ходишь, а домой не идешь. Ну, давай, выкладывай, что там у тебя стряслось.

Вовка шмыгнул носом и честно рассказал ему и про хлеб, и про пацанов, и про Топтыгу с продавщицей.

– М-да-а, – задумался дед. – Это ты нехорошо, брат, поступил. Обман – это уже большой грех. За него Христос строго спросит.

– Прямо с меня, ли че ли? – не поверил Володя и замер в ожидании.

– А с кого же? – удивился дед. – Каждый из нас за свой грех отвечать будет. Обидел если кого, обманул, своровал – отвечай. Но если покается человек в грехе своем, признается во всем, что сделал, то и простится ему.

– А не признается? – еще больше затаился Вовка.

– А не признается, – дед сделал паузу, – значит, и не покается. Тогда и дорога одна – в ад. А кому туда охота? Не-е, лучше прощения попросить...

– У Христа? – торопливо перебил Вовка. – Только у Христа?

– Ну, да. И у тех, кого обманул или обидел.

– Дак я же... – взволнованно вскрикнул Вовка и осекся. И уже чуть слышно закончил себе под нос: – Я только хотел, я же не обманул.

Дед сделал вид, что не заметил поправки.

— Бывает, и не успеешь согрешить, — продолжил он, как бы размышляя вслух, — но грех идет уже от одной его задумки. Тогда поторопиться надо покаяться, чтобы простил Иисус. Не то грех весь год угнетать будет. Это ж ведь пока она, звезда Христова, вот так-то вот снова на небе не появится.

— А как не простит? — сомневается Вовка. — Откуда мне знать, что Иисус услышит и простит, а?

— Так Он тебя и сейчас слышит. Он же всегда рядом. А что простит, так это, брат мой, Вовка, ты уже сам в себе услышишь. Тут я тебе ни определить, ни подсказать не могу. Но я бы на твоём месте щас же к маме побежал и признался. С мамой-то и Христа просить легче, а? Давай-ка, беги быстрее к ней и уже по дороге проси Бога простить тебя. И запомни: так сделаешь — будет тебе чудо. Давай, поторопись, а то продрог уж весь. Только чур, про чудо мне расскажешь!

Где уж там бежать: на ватных ногах забрался Вовка на крыльцо барака, шепча, как заклинание, свою немудреную просьбу:

— Боженька Иисус Христос, прости меня, чтобы не сердились мама с Ниной Андреевной. Я никогда больше не буду просить чужой хлеб.

И вдруг почувствовал, как ноги снова приобрели легкость и сами понесли его по темному коридору. А маленькая Эльза будто караулила его у дверей: не успел он зайти, как она тут же потащила его за руку к столу. Там, на этом столе, горкой возвышалось что-то, прикрытое полотенцем.

— Быстрее, быстрее, — торопила она упирающегося Вову, — сколько можно тебя ждать? Мама мне без тебя не разрешает брать.

Мама тоже как-то необычно торжественно подозвала его к себе, и стоило ему взглянуть на нее, как все его страхи сразу же развеялись. Такой он маму давно уже не видел. Ее привычно грустные глаза светились радостью, да и вся она как будто собралась на какой-то праздник. Вот прямо сейчас собралась! И сразу расхотелось огорчать ее, но Вова все же решил не отступать от обещания, данного Христу.

— Мама, я это... хлеба не достал, — начал он. — И еще я...

— Я знаю, сынок, — не дала она ему договорить и убрала полотенце. — Смотри, что у нас есть! На столе стояла алюминиевая чашка полная поджаристых оладьев и рядом — булка хлеба с довеском.

— Откуда это, мама?

Эльза, получив, наконец-то, один оладушек, заскакала по комнате:

— Это нам твоя тетя принесла.

— Какая тетя? — растерялся Вовка.

— Та, которая помогла мне обменять кофту на базаре, — улыбнулась мама. — Помнишь, я рассказывала? Вот она только что и принесла нам все это. И знаешь, кто она? — выжидательно посмотрела она на сына.

— Кто? — чуть слышно прошептал Вовка в сильном волнении. Он почему-то понял, что вот сейчас сбудутся слова старого Вибе о чуде.

— Учительница твоя, Нина Андреевна, — мама прижала сына к груди.

О таком Вовке и не мечталось! Чудо сбылось! Значит, Иисус услышал его. И в детской душе ни с чем не сравнимое ликование.

— Господи, — продолжает мама, — как я хотела встретиться с ней и встретила. Какая она все же славная! Она так хвалила тебя, сыночек.

— Хвалила? — недоуменным эхом откликнулся он. — За что?

— Ну, что учишься хорошо. Только вот... — мама замолчала.

— Что? — сердце Вовки екнуло.

— Говорит, носишься ты на переменах как угорелый. Данный проступок показался Вовке столь незначительным, что он пропустил это мимо ушей. Надо ведь признаться в главном, чтобы Иисус простил его до конца.

— Мама, а разве директорша ей не сказала... Ну, это... Что я...

— Сказала, сынок, сказала. Поэтому она и пришла. И гостинец принесла, чтобы ты никогда без спроса такого не делал.

— Я никогда не буду, мама. Значит, она простила меня? Но я ведь только еще Иисуса просил, а ее-то не успел...

У мамы отчего-то задрожал голос:

— Раз ты Его просил, значит, Он и простил. Вместе с ней простил. Она ведь, сынок, Его тоже об этом про-

сила... На-ка вот хлебушка. Он, Вова, не простой хлебушек. Он — прощенный...

Такого вкусного хлеба Володя ни до, ни после этого не пробовал.



Голос слышен в Раме...

*Голос слышен в Раме; вопль и горькое рыдание;
Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться
о детях своих, ибо их нет».*

(Иер. 31:15)

— Папа, папа! Где мама? — хныкала пятилетняя Элла и теребила отца за рукав.

— Эля, я есть хочу, — в свою очередь не отставала от нее младшая Ида. Ей шел четвертый годик, и все претензии она привыкла адресовать своей старшей сестренке, даже когда дома был Себастьян — их старший брат. Сева уже почти взрослый, десять лет стукнуло парню. Ах, если бы только он был в этот день дома: это удержало бы отца от отчаянного поступка.

Но в данный момент он был в дальней деревне у бабушки Агнеты. Та изготавливала для отца мази из трав, которые немного утишали его страдания.

Преодолевая боль, Артур поднялся с койки. Без помощи жены Тины он не вставал на ноги уже около месяца. Теперь нет и Тины: уже три дня как ее, несмотря ни на какие мольбы, забрали в трудовую армию. Еще неделю назад председатель сельсовета говорил им, что она не подлежит мобилизации, а потом вдруг случился какой-то там недобор, и тот же Малахов строго-настрого приказал ей

явиться на станцию. Дескать, у твоих детей есть хоть и больной, но отец, а у других и такого нет, да и то забирают. И не падай, мол, передо мной на колени: не явишься вовремя — под суд пойдешь! И если в армии той еще есть какая-то надежда выжить и вернуться, то из тюрьмы — вряд ли. Вот и весь сказ.

Ноги Артура гнили заживо и причиняли несказанные страдания. Одно спасение — травы Агнеты. Но кто знает, когда Себастьян с лекарством вернется от матери Тины. Да и что проку от временного облегчения? Сил не оставалось совсем, и Артур понимал, что в любой момент может уйти из жизни. И тогда он решился отправить дочек из дому. Тина не осудит его: при нем живом дети могут умереть с голода. Так, как мерли они там, на Украине, в голодные тридцатые, когда дело доходило до людоедства. Без него есть надежда, что возьмут сирот в приют, и выживут доченьки. А там, глядишь, и мама вернется. Не век же войне быть. Не-е, Тина поймет и простит. Она и Бога упросит. Говорила же, что Он все может простить... Поминутно стеная, он все же собрал девочкам узелки с нехитрыми пожитками и сухариками и довел их до порога. Дальше идти сил не было.

— Элла, идите с Идой все время прямо, — расцеловав дочерей, напутствовал он их на прощание, — и кто будет вас спрашивать, говорите, что идете к бабушке Агнете. Кто-нибудь вас обязательно подвезет. Там и Сева вас ждет.

Упоминание о брате ободрило девочек, и они, взявшись за руки, пошли по дороге в указанном папой направлении.

Сколько мог, смотрел им вслед Артур, прислонившись к косяку. Потом сполз на пол и, весь дрожа от озноба, дотянулся до печки в последней надежде согреться. От нее не исходило тепла. Только стылый, мертвящий холод.

— Тоже выстыла, — мелькнуло в уходящем сознании. — Ушла жизнь...

* * *

Тихий мерный поскрип телеги совсем было уже убаюкал семилетнюю Машу, и даже редкое покачивание на дорожных ухабах не нарушало ее благостного покоя. Они с мамой возвращались домой из соседней деревни, и путь их лежал через станцию. Мама, правившая лошадь, сидела впереди и также полусонно мурлыкала себе под нос какую-то мелодию. Вдруг Маша насторожилась: откуда-то издали, с той стороны, где станция, донеслись отголоски протяжного завывания. Было еще светло, но она так боялась волков, что сразу же прильнула к маме и обхватила ее руками.

— Что ты, что ты? — удивилась мама, глядя на ее перепуганное лицо.

— Волки... — одними губами пролепетала дочка, пальцем указывая вперед. — Там!

Вера прислушалась и на всякий случай легонько подстегнула жеребца. Тот почему-то только сделал вид, что заторопился, но не прибавил в ходе, и она сразу успокоилась. «Не бойся, Маруся, — сказала она. — Если бы это были волки, Филя бы сам так рванул, что только дер-

жись». Но какие-то сомнения ее все-таки одолевали, потому что девочка видела, как все больше мрачнело ее лицо. Протяжное, чуть слышное завывание сменилось многоголосым воем, который все усиливался по мере их приближения к станции, и совсем скоро они увидели там огромное скопление женщин. Все они, за редким исключением, были одеты по-летнему, и жалкий отрешенный их вид говорил о страшном несчастье, свалившемся на их головы.

Отсюда, где-то из середины толпы, и доносился этот скорбный вой, чередовавшийся с жалобным причитанием. И причитание это звучало на одной ноте, как безысходная мольба.

Одна же женщина стояла на коленях чуть впереди толпы, то есть ближе всех к путникам, и беззвучно молилась. На этом всеобщем фоне отчаяния она выделялась тем, что не голосила и не причитала, но в ее согбенной фигурке было столько скорби, а глаза были полны такой неземной тоски, что, доведись кому заглянуть в них, увидел бы, что ими все уже выплакано. И вместе с тем в них, где-то в самой потаенной их глубине, едва заметными искорками тлел уголек надежды.

Вот она в очередной раз обратила лицо к небу, их глаза на мгновение встретились, и Маше показалось, что это именно к ней она протянула свои руки. Жалость и безотчетный страх смешались в душе ребенка, и она вновь прильнула к матери. Мама погладила ее по головке и быстро-быстро перекрестилась. Филя, словно почуввав неладное, побежал резвее, и они свернули в поселок.

Этот взгляд немой надежды посреди отчаяния и боли бессилья долго еще стоял перед глазами Маши. И она вспомнила эту тетю.

Она видела ее с двумя маленькими девочками и мальчиком постарше Маши в этом самом рабочем поселке, куда мама часто брала ее с собой на базарчик. И она сказала об этом. Оказалось, что мама тоже вспомнила ее.

— Мама, а кто они все?

— Немки, доченька, — тихо ответила Вера, — немки.

— А че это они все плачут?

— Потому что их увозят от детей. Это самый страшный грех. Нельзя этого делать. Бог не простит нам.

Почему Он не простит, Маша не спросила. Перед глазами стояла та, которая тянула к ней свои руки. Просила у нее защиты? Но что могла сделать семилетняя девочка? И вот об этом она и спросила маму.

— Ты можешь молиться о ней Богу, — ответила мама. — И Он поможет ей.

— Правда? — обрадовалась девочка. — Поможет? — и стала просить Бога о ней в своей бесхитростной детской молитве.

В этот вечер на станцию, наконец-то, подали состав, и после трехсуточного ожидания согнанных женщин увезли в неизвестность. На долгие-долгие годы по дороге, до конца которой доживут очень и очень немногие.

И той же ночью из-за нагрянувшей метели и мороза пало огромное количество скота.

* * *

Весна в том году несколько припоздала. Зато в середине апреля пришла она так напористо и дружно, что вряд ли нашелся бы человек, который засомневался в ее необратимости. Снег потемнел в одночасье, и белые пуховики сугробов схватились заскорузло-зернистой коркой. Кое-где у их подножия наст успел оттаять и зачернел норками, в которые отовсюду устремились вездесущие ручейки. Там, под настом, собираясь воедино и умолкнув на какое-то время, объединенными усилиями они и подтачивают нутро сугробов. Так же незаметно, как это проделывают с древесиной гусеницы древо-точцев. Смотришь: зашевелился сугроб, как существо живое, и обмяк, и осел устало, пополняя ручей живым журчащим весельем. Нароботает такой новорожденный ручей силу под снегом и прорвется уже где-нибудь значительной струей воды, знаменуя собой начало половодья. Следом один за другим пойдут дожди торопливые, а с ними и весна-красна к оживающей земле приглядывается: что, мол, не пора ли явиться во всей своей красе? Но и осторожничает: а не ожидается ли подвоха со стороны белоокой предшественницы.

Вот этот самый подвох и случился весной сорок третьего в Северном Казахстане. Уже и стада выгнали пастухи в поля, и вроде как начал скот вес набирать, как вдруг в последние апрельские дни перед праздником... не заморозки — мороз!

Весь день солнце ласково согревало степь, и даже к вечеру не уходило еще тепло с парной просыхающей земли, а к ночи ни с того, ни с сего похолодало так, будто

того тепла и не было вовсе. Дальше — больше: задуло, завьюжило, и, словно ведьма с распущенными космами, вырвалась зима из засады метелью; запуржила несусветной падерой и за короткое время засыпала, убелила поля снегом. Да так, что от той белизны глаза у нее у самой застило и она их прикрыла от горизонта до горизонта клубами темно-лиловых туч. Да до того низко их развесила, того и гляди — упадут на землю. Во-он там, у конца земли-то, уже и упали поди: где земля, где небо, не различить.

И подкрепила зима свое возвращение ядреным морозцем. А когда сподобилась луна в любопытстве своем выглянуть из-за туч, то высветила такое мертвецки иссиня-бледное, безжизненное пространство, что в испуге юркнула назад, в небесное покрывало. И только когда стали рваться облака и в образовавшихся небесных колодцах запилигали звезды, осмелела и, призвав их в свидетели, снова выглянула удостовериться: правда ли то, что она увидела? Истинно ли беда такая? Удостоверилась. Давненько не видела она на земле такого скорбного безмолвия — белого траура.

И в этом безмолвии волчий вой в предвкушении неожиданной-негаданной поживы послышался ей ликующим восторгом на печальных похоронах. Воистину великой оказалась пожива — несть числа погибшему скоту. По всей степи черными бугорками разметались трупы коров, овец, лошадей. Даже одного пастушонка четырнадцати лет застал мороз врасплох. Замерз парнишка в степи. Вместе со стадом насмерть замерз.

И кто-то увидел и догадался: неспроста это бедствие, неспроста. И пошла гулять, опасливо озираясь, тихая молва, передаваться исподтишка по селениям от дома к дому: «Ох, прогневили мы Бога. Не надо было так-то с народом. Они ж матери, а их от детей... Ровно мы бурсурмане какие...»

* * *

Из-за этого вот неожиданного возвращения зимы застрял Себастьян в дальней деревне у старенькой бабушки Агнеты. Аж на целых два дня задержался пацан. Именно столько продержалась коварная зима белоглазая, но бед успела наделать, что ой-ей-ей! Хоть и уговаривала бабушка подождать еще денек-два, пока степлится земля: куда, мол, пойдешь, дороги-то вон че раскисли — не доберешься. Разве что до станции сначала, а там на товарняке. Так все равно обождать бы надо. Но Сева знал, как больно отцу, и совета не послушался. Да и три километра до «железки» — не тридцать. В общем, насилиу добрался до «железки», а там уже легче. Там на товарняк — не впервой — и до Таинчи. В общем, к полудню до своего дома добрался.

Домой-то добрался, а дом пустой: ни мамы с папкой, ни сестренок меньших нету: ни Иды, ни Эллы. Будто вымерло все в доме. Оказалось, что и правда — вымерло. Зазвала его к себе соседка и не так, чтобы Севе, а больше в пространство, вроде как сама с собой рассуждает, рассказала, что отец-то его помер и уж два дня как похоронен. Да как-то странно, вроде как с осуждением, пожалела:

— Не мог же вот он раньше помереть, — говорит. — Смотришь, и не забрали бы твою мамку в трудармию. А так — забрали, раз он живой ишо. А что негодный за детьми смотреть — дак кого ж то волнует? На бумаге-то этого не пропишешь? Не пропишешь. На бумаге записано, что двое родителей есть, значит, и можно одного в армию тую забрать. Время чичас такое, время.

Теть Глаша говорила, стараясь не глядеть на мальчика. Ровно так же, как старались не смотреть все соседи, и она в том числе, на его сестренку, когда брели малышки по дороге куда глаза глядят. И жалко, и от безнадежности вступить боязно. Чем поможешь? Только себе горя накликаешь.

— А сестренки твои, видать, тебя искать пошли, — продолжала она. — Где-то у вас же есть родные. Вот где-то же ты был это время, а? Оне два дня, считай, ревели тут, а кто обратит внимание? У каждого своего горя хватает. Здесь-то вы никому не нужны, Сева, а сродственники, может, и помогут.

— А где мне сестренку искать, тетя Глаша? — в отчаянии прошептал Сева. — Они же дальше поселка дороги не знают.

— Про это не знаю. А пошли вот в ту сторону, — соседка махнула рукой. — Дорога-то, она куда-нибудь выведет. Да и мир не без добрых людей. Может, в какой приют попадут. А я и так: нет-нет, да и зайду, бывало, пока он живой-то был, покормлю их из того, что у вас там оставалось, а то и сама чего принесу. Сухариков на всякий случай им наготовила. Сгодилось, как теперь думаю.

Оправдание — «а я и так», — дорогие мои читатели, было сказано не для красного словца. Проявление сострадания к обездоленной ссыльной семье уже само по себе было делом рискованным. А уж позаботиться о детях, хотя бы так, как это делала тетя Глаша, и вообще из ряда вон. Очень просто можно было попасть в «черный список», со всеми вытекающими отсюда последствиями. А если учесть, что вытекали они из тупых, безмозглых голов человеконенавистников в чекистской форме, — ого!

И Сева отправился. Нищему собраться — только подпоясаться. Пословица аккурат для таких, как он. Из всего оставшегося барахла подобрал пару брезентовых полуботинок, «просивших каши», подвязал их подошвы к верхам бечевкой и, переночевав в пустом домишке, рано утром перекинул через плечо котомку с сухарями и непригодившейся мазью для отца, и отправился на поиски своих двух сестренок — Эллы и Иды, трех и пяти лет от роду...

От той внезапной непогоды в степи не осталось и следа. Только кое-где в низинах да затишных местах по балкам, да на овражных склонах сохранился еще снег. Лежал он белыми островками и под деревьями в небольших перелесках, которые все чаще стали встречаться на его пути. Дорога от одного до другого такого лесочка и стала ему стимулом. «Вот дойду до той березки, там и отдохну, — подбадривал он себя, а дойдя тут же намечал дальнейшую цель: — Вон до того поворота, а там уж обязательно». Сева очень надеялся встретить сестренок где-

нибудь по дороге. И хотя шел уже второй день его пути, а они все так и казались ему за каждым ее поворотом. Вот сейчас он свернет и увидит их. Куда они, такие малюсенские, могли уйти? Но дорога сворачивала, а сестреночек так и не было. Ноги совсем озябли от стылой земли. Солнышко хоть и пригревает, но промерзшую за зиму почву (тем более после этой вот добавки) разве за несколько дней прогреешь? Она только кажется теплой, но ступи на нее босой ногой — там стынь одна. Босой — потому что его брезентовые полуботинки полностью развалились и стали непригодны даже в сухую погоду, и то и дело приходится их подвязывать. Совсем из сил выбился мальчонка. Вот чуть вдалеке и справа от дороги зарябила белизной коры вперемежку с черными подпалинами березовая рощица. А на том же расстоянии слева за ровным полем показались холмы. И радостью засветились глазенки, когда увидел там метрах в ста от дороги остатки копешки. Так, самое основание только. Видно, недавно свезли все, а снег у подножия, снаружи схватившийся с соломой ледяной коркой, остался дотаивать. Аккуратным крохотным кратером вулкана на полметра возвышается и белеет он над землей. Там в середине копны — это Сева знает! — теплая солома и пряный запах. Чуть подальше начинается склон холма и через ложбину другой, и пошли они волнами чередоваться до самого горизонта. И там, на этом далеком горизонте, едва уловимо обозначились синие горы. Хотя это и не горы вовсе, а настоянные на небесной синеве облака кучами сгрудились у горизонта и так и манят к себе: иди, мол,

путник, иди сюда. Ага, попробуй дойди. Век не дойдешь! В нетерпеливой радости Сева скинул развалившиеся ботинки и, подхватив их в руки, поспешил к копешке. Он был уже почти у цели, как вдруг из ее нутра через стенку перемахнул волк и встал, оцетинив шерсть и обнажив клыки в свирепом оскале. Сева так и врос в землю. Он не успел еще ничего сообразить, как волк, словно готовясь к прыжку, резко припал на передние лапы, и от этого движения у мальчика заглохло все внутри. «Ма-а», — вырвался у него сдавленный крик, и в беспомощной защитной реакции он швырнул в волка оба ботинка и вытянул перед собой руки. Но зверь вдруг всеми четырьмя лапами отпрянул в сторону и как-то боком, будто следил за кем-то вверху, стремглав понесся к распадку. Там он скрылся и тут же вылетел на противоположный склон и, петляя, помчался по кособору явно в направлении спасительного лесочка. Только теперь Сева увидел распластавшуюся над землей птицу. Она медленно, но верно настигала волка. Вот он выскочил уже вдали на макушку холма и скрылся на другой его стороне. Следом из виду скрылся и его преследователь. Еще не совсем поверив в свое спасение, мальчик в состоянии ступора перешагнул ледяной бортик и в изнеможении опустился на теплую, нагретую солнцем солому. От нее исходил дурманящий запах прели, и исполу зашедшие ноги враз напомнили о себе ознобом. Сева стащил с голяшек сырые обмотки и руками стал отогревать ступни-ледышки, сплошь покрытые цыпками. Почувствовав тепло, ноги стало приятно покалывать, а сам Сева стал понемногу приходить в себя

от пережитого ужаса. Только теперь в памяти всплыли все страхи, связанные с рассказами о волках. «Да ведь он может еще вернуться!» — настойчиво застучала мысль, но сил встать и побежать отсюда у него уже не было. И он поступил так, как, наверное, поступил бы любой другой подросток в его положении: он заревел и, размазывая слезы по лицу, стал звать маму. Очень скоро это помогло: он немного успокоился, вспомнил мамин наказ и попробовал молиться. «Боженька, спаси меня от злого волка», — несколько раз прошептал Сева и глубоко и облегченно вздохнул. Все его существо наполнилось безмятежной сердечной свежестью покоя. Солнечные лучики отогревали его озябшие ноги, наполняли душу радостным светом, приносили в нее чудесную мелодию умиротворения. И, овеваемый нежными прикосновениями ветерка, Сева представлял, что это мама приглаживала его взъерошенные волосы и высушивала слезы. Он ее не видел, но она была где-то совсем рядом. И в легком дуновении этого ветерка ему почудился ее ласковый голос. «Все позади, Себастьян, не бойся! Волк не вернется», — различил он слова, и от осознания того, что находится под защитой, приклонил голову ей на колени. Как хорошо, что он успел позвать маму, вот она и попросила Боженьку послать птицу, чтобы наказать злого волка. Да он и сам теперь не боится никакого волка. Пусть только попробует сунуться, ох, он ему и покажет! Правда, для этого надо немного подкрепиться. Сева давно уже чувствовал сильный голод, но только теперь решился достать из котомки сухарики:

«Это Эле, это Иде, а это мне», — разделил он их, взял половину своей доли, остальное сложил обратно. Раскусив сухарик, он долго катал его во рту, потом подложил под язык, наслаждаясь вкусным ржаным духом. Солнышко пригревало все теплее, и от ласковых его лучей совсем разморило мальчишку.

Вдруг будто что-то толкнуло его, и он вскочил на ноги. Как это он чуть не забыл? Ведь он не поблагодарил Бога за спасение! Сева тут же опустился на колени, как это делала мама, и... не смог ничего сказать, потому что ощутил неизъяснимый прилив благословения, от которого у него перехватило дыхание...

Он слышал явственный шепот. Кто-то говорил с ним на чудесном языке небес. И мальчик понял, что его слышит и говорит к нему Сам Бог. И Севе уже не надо говорить Ему лишние слова. Бог знает и видит все! Сколько раз об этом ему говорила мама, а теперь он и сам убедился, что Он видит все. И всем своим детским существом почувствовал Сева Его любовь. И снова принялся размазывать по лицу слезы. Только теперь это были слезы не страха или жалости к себе, а умиления и благодарности Богу. Невидимому, но присутствующему здесь, совсем рядом. Или даже где-то внутри себя. Теплота чувств разлилась по всему его телу, и он свернулся калачиком на теплой мягкой соломе.

Однако мама легко, но настойчиво теребила его волосы: «Вставай, сынок, до вечера до села добраться надо. Успеть бы тебе засветло. Больно волков нынче много в степи, сам ведь видел».

«Ага, мама, щас я. Посижу еще чуток и пойду. Вот еще ма-аленькую минуточку и пойду».

Клонится голова мальчика. Закрываются глаза...

И вот уже Сева встал и пошел по разноцветному степному ковру. Сама же степь, насколько хватает глаз, цветами, морем цветов, переливается и пестрит, что аж до ряби в глазах. А в небе жаворонки чуть слышными своими трелями неповторимые, восторженные мелодии выводят. И до чего же все красиво! Ах, хоть бы до самого конца пути не кончались ни цветы, ни песни птичек небесных. И они не кончаются: пение жаворонка все громче, а цветы уже доросли до пояса и один за другим раскрывают бутоны — желтые до золота, голубые до лазури, бордовые да лиловые — и кланяются, и кланяются Севе, и нашептывают что-то свое, потаенное. «Где же я их раньше видел, ведь в степи не растут такие?» — удивленно радуется Сева. — Мама, где я их видел?» — Мама молчит где-то совсем рядом. Он не видит ее, но чувствует, что она загадочно улыбается. — Да где же, мамочка?» — силится Сева, напрягает память, а вспомнить не может...

* * *

— Смотрите! — показал Артем кнутовищем на небо. — Во-он, видите, на самую верхотуру забрался, шельмец. Ему из той вышины все как на ладони видать. Вишь, как парит.

— Тять, а че он так высоко забрался?» — спрашивает Машенька.

— Да-к это он там добычу себе на земле выгладывает, — пояснил отец. — Эх, ты, гли-ко, гли-ко, камнем пошел! Тпру-у!

Телега остановилась, и три пары глаз успели проследить, как перед самой землей раскинула птица крылья — ни дать, ни взять парашют раскрылся! — и планером сплыла в низину за холмами.

— Не коршун это, — определил Артем. — Но все равно выследил кого-то. — Он легонько щелкнул поводьями, но жеребец не тронулся вперед, а наоборот, попятился и подал телегу назад. — Ты чего, Чалый? — удивился возчик. — Че разволновался-то?

— А вон, смотри, — резво спрыгнул с телеги его напарник и, подхватив жеребца под уздцы, потрепал по гриве. — Тихо, тихо, Чалый, мы же с тобой. — И Артему: — Вон он, видишь-нет, братуха? Машку-то, Машку постереги.

Маша в испуге прижалась к отцу: она впервые так близко увидела волка. Он выскочил из-за ближайшего холма, пулей пересек дорогу и устремился к стоявшей слева от них березовой рошце. Там на самой ее опушке, на краю поросшего кустарником небольшого оврага, его и настиг пернатый хищник. Только и увидели они, как взмахнули несколько раз его огромные крылья, накрыв поверженного волка. И теперь хорошо были видны белые плечи черно-бурых крыльев птицы. Все остальное лишь угадывалось в зарослях прошлогоднего кустарника.

В том числе и жертва.

— Да это же беркут! — восхищенно зацокал языком Артем, стоявший на телеге во весь рост. — Ловок чертяка! Такого матерого завалил. Ну, что ты, доченька, так перепугалась. Все ладом. Поехали дале теперича. На чужой каравай рот не разевай. Должно быть, это Женис на последнюю охоту выехал. Сезон-то у беркутов кончается. Полагаю, его птица будет. Проведи Чалого немного, Петя, пусть успокоится.

Петр взялся за оглоблю и некоторое время вел уже не управлявшегося Чалого. Вскоре и знакомая нам копна показалась справа от дороги. Артем, стоя на телеге, снова натянул поводья.

— Слышь, Петь, — кивнул он брату, — там ишо полно соломы осталось. Бери мешки, может, чего наберем. — И тут же заволновался: — Мать честная, да там человек.

Оставив Машу с Чалым, они быстрым шагом подошли к копешке. За снежным бортиком на соломе они обнаружили свернувшегося маленьким клубком мальчика. Артем облегченно вздохнул: мальчик спал и улыбался во сне.

— Живой, чертенок. Как он сюда попал?

— Ты лучше скажи, как он остался жив, — возразил Петр и указал на следы волка по другую сторону копны. Они были отчетливо видны на остатках снега и на примятой прошлогодней траве, а валявшиеся ботинки подтверждали, что здесь могла произойти трагедия. — Ясно ведь, что на него напал волк. Вон обувка валяется. То ли удирал, то ли еще что.

— Слу-ушай, — Артем перекрестился, — это ж того волка и гнал беркут! Выходит, он спасал пацана? Птица небесная спасает мальчонку — это знак Божий, Петя. — Он положил руку Севе на лоб. — Слушай, брат, да он горит весь.

— Немудрено, босиком-то по стылой земле, — откликнулся Петр и вопросительно посмотрел на брата: — Что делать будем?

— Заворачиваем оглобли, — твердо сказал Артем. — Наберем заодно побольше соломы в мешки. Все не зря ездили. Да и подложим, чтобы не так тряско пацану было. Набрав соломы, они уложили мальчика в телегу и, развернув лошадь, поехали в обратном направлении.

— Тятя, — вглядевшись в лицо мальчика, тронула отца за рукав Маша, — я знаю этого мальчика. Помнишь, мы с мамой тебе про тетеньку-немку на станции рассказывали? Ну, в армию ее отправляли? Так это ее сын.

— Немчура, что ли? — растерялся Петр. — Вот так фунт изюма.

— Кто бы ни был, теперь он сирота, — укорил его Артем. — И нам знак даден, чтобы мы не бросали его. Пацан Самим Богом меченый. А эта армия... Сам знаешь, что это за армия. Кто из них оттуда вернется? Ты ведь видел их лагерь.

— Ты бы потише, брат, — боязливо оглянулся Петр. — Оно, правда, конечно, видел, да только говорить об этом даже в степи опасно.

— Да я и так потиху.

— И куда ж ты его денешь? — немного погодя решил-ся все же спросить Петр. — У тебя ж вон своих... семеро по лавкам.

— Это уж как мать скажет, — развел руками Артем. — Ежли че, в приют свезем. Мы ж не знаем, чего он тут за полсотни верст от дома оказался.

— Я знаю, — серьезно сказала Маша. — Он, наверное, своих сестренек ищет, раз ихнюю маму забрали. Только я не знаю, как его зовут.

— Ну, это думаю, он нам сам расскажет, когда очнется. А вон и сам Женис с беркутом.

У края дороги они увидели двоих мужчин верхом на лошадях. Несмотря на теплую погоду, оба были в лисьих малахаях, а на руке одного из них, лежавшей на деревянной сошке, прикрепленной к луке седла, сидел тот самый темно-бурый беркут с белыми плечами. Только теперь на его голове уже был кожаный колпачок.

— Ассалам алейкум, Женис, с доброй охотой тебя и твоего гостя!

— Алейкум ассалам, Артем! — приложив руку к груди, чуть склонил голову охотник. — Спасибо на добром слове. Да, это мой гость из Киргизии. А что это за мальчика ты везешь?

— Пока не знаю, Женис. В беспамятстве он. Твой беркут его от волка спас. Так я думаю. Мы нашли его там, — Артем махнул назад рукой, — в степи. Как раз оттуда твой беркут и гнал волка. Спасибо ему. И тебе спасибо.

— Хорошо, — сказал Женис, — значит, Аллах усмот-

рел спасти его. Я к вечеру заеду к тебе, Артем. Я хочу говорить с мальчиком. Если ты не возражаешь.

— Да нет, конечно, милости просим, уважаемый Женис.

— Оставайтесь с миром, — попрощался охотник и пришпорил своего коня.

...А поле цветов все не кончалось, и ростом они уже были вровень с Севой. При каждом дуновении ветерка они покачивали головками, буйством красок рождая фантастически причудливые переливы волн. Это были волны блаженства. Они подняли и понесли его, баюкая на своей зыби его худенькое тельце, и он покачивался на их поверхности, ощущая себя плывущим в этом неземном, благословенно ярком облаке восторга. Оно окутало его и наполнило живительной силой. Мальчик чувствовал, как распрямляется все его тело от избытка этой силы: чувство, словно у него вырастают крылья. Где-то там, на краю поля, он увидел Эллу с Идой: они сплетали венки из этих цветов и протягивали их Севе. Он встал и, не касаясь земли ногами, побежал к ним. И все бежал и бежал, и тянулся, и никак не мог дотянуться до них, и звал, и звал их...

— Мама, я найду их? Я добежу?

— Добежишь, сынок. Найдешь...

Горбушка хлеба

В самом начале войны в далекой Сибири то было. Путь жизни люди и так-то не видели: голод да нищета, да лагеря кругом, а тут еще и эта напасть. Вот, кажется, горе дальше некуда. Ан, нет, отыскалось — куда. Оказалось, что может быть еще горше: целыми эшелонами стали прибывать еще более обездоленные люди — ссыльные всех национальностей. Самые бесправные...

Объездчик Мустафа ехал через перелесок, за которым начиналось огромное картофельное поле. Поле было убрано, забот у него заметно поубавилось, и держал он ранний путь в райцентр. Туман белесой пеленой поднимался от земли, развиднелось уже и в лесочке. Четко, вровень с кустарником, обозначились стволы деревьев, стоящих нечасто, и каждое вырисовывалось, как на картинке. Оживала природа, на все лады опробовали голоса птички, мирно на душе и у Мустафы, и мурлычет он свою монотонную нескончаемую песню. И хоть не глядит по сторонам, а настолько профессия в нем сидит, что, как охотничья собака — дичь, так и он инстинктивно чует нарушителя. Вот он остановил коня, напряжился. Во-он, вдали, у самой кромки поля, три фигурки копошатся. Ссыльные картошку ищут. Поймать и наказать. Эх, надо было от леса вправо взять и за выкорчеванными

отвалами подкрасться незаметно. Теперь так не получится. Да еще Гнедой вдруг тряхнул гривой и всхрапнул неприлично громко, и тут же в утреннем воздухе вскинулся и завис звоночком испуганный детский голос. Для звука всегда есть преграда, а уж в таком благословенном безмолвии утра — подавно. И прилетел отзвук к Мустафе непонятной скороговоркой непонятного языка, да так, будто кто совсем рядом говорил. И кинулась троица к спасительному ельнику, сплошной стеной стоящему у края поля, отгораживая его от «железки».

— У-у, кляча дохлая! — в сердцах обругался объездчик.

И вдруг увидел, как от убегающих отделилась маленькая фигурка и не сильно споро, прихрамывая, побежала вбок, к дальнему краю поля, где сразу за отвалами начиналось мелколесье.

— Ага, — злорадно догадался умный Мустафа, — там ворованное припрятали. Ну, тебя-то, хромоножку, я достану.

И пустил коня наперерез. Он явно успевал и даже оглянулся, чтобы усмотреть, в какую же сторону ельника шмыгнуть те двое, и остолбенел: удиравшие до того порожними, теперь эти двое бежали не так резво, но уже с мешками на загорбках.

— У-о-а, шайтан! — в бешенстве завопил Мустафа и развернулся было, поняв, в каких оказался дураках. Потом крутнулся еще раз и, яростно стегнув воздух камчой, вновь погнался за хроменьким. Но, похоже, и тот наблюдал за его действиями и, когда убедился в безопасности

своих друзей, дал такого стрекача, что только пятки засверкали. Причем не образно, а натурально: малец был бос.

...Яша бежал к лесу, чтобы отвлечь объездчика от своих старших сестреночек. Ему-то что: ну побьют — так ведь не привыкать. Да и сперва поймать надо. А на себя он надеялся. И еще знал, что ему всегда помогает кто-то невидимый.

...В свои десять лет Яша уже был кормильцем семьи: ходил с большой тряпичной сумкой на лямке просить по близлежащим селам милостыню. Так что первыми русскими словами, которым он здесь научился, были: «Подайте, ради Христа!» И при словах этих люди делились с заморышем кто чем мог. Этим и дюжила семья. Всякое бывало: на днях вон местные пацаны напали на станции, и кто знает, чем бы обернулось дело, если бы не позвал на помощь один маленький мальчик.

— Папка! — завопил он на весь вокзал, — спаси, там мальчишки нищенку убивают!

Выбежал отец с мужиками, пацаны и разбежались. Сильно побили они нищенку: самодельными плетками всю спину исполосовали, изорвав и без того ветхую рубаху. Да и губы распухли — слова вымолвить не может. А хоть бы и вымолвил — так не на худшее ли? Некоторые вон и так поспешили отойти, как поняли, что инородца спасали. Собрала ему мать того мальчика в котомку раскиданные куски хлеба: «Ну, спаси тебя Христос», — говорит. Обрадовался нищенка слову знакомому, оттер от пыли горбушку хлеба, с мальчиком поделился. Едят

и улыбаются друг другу: ах, до чего же вкусный хлеб! Горестно вздохнула сердобольная женщина и подала Яшке из узелка не старую еще рубаху байковую, Вите на вырост взятую: «Ох, ты горе людское, самими на себя призванное».

Три дня в горячке провалялся Яша, потом на поправку пошел и тут же подбил сестренку старших за картошкой: зима на носу, запасов нет. Че страшного-то: поле убрано, может, и не объявятся там объездчики. И ведь убежал, считай, как вдруг в осклизлую рытвину по недогляду ступил, ушли из-под него ноги, так и впечатался в черную рыхлую землю. Соскочил, а объездчик уже над ним. У него глазенки от страха разбежались, одну руку зубами стиснул, другой в копну волос вцепился, дрожит весь, как лист осиноый. Кто угодно бы сжалился, только не Мустафа. Загоготал он от великой радости, и эхо, повторив многократно этот гогот, раскатило его по окрестности, по полю да по лесу рассыпало, помогая разогнать остатки тумана. Тычет Мустафа в Яшку камчой, дескать, кто такой, откуда?

Яша так понимает, что его бить сейчас будут. А рубашку дареную жалко, изорвет ее камча. Он ее скоренько со спины на руки снял и на колени склонился, и шепчет, что если бы на русский мог кто перевести, услышал бы: «Боженька, помоги, чтобы не сильно били, дохлый я нынче еще. Кто моих кормить будет? Помоги, Боженька».

У Мустафы весь пыл пропал. Не потому, что разжалобился, а потому что опасно лупцевать. Парень —

кожа да кости, спина от рубцов свежих синяя с розовым, неровен час — окочурится под плетью. А в болото загнать на часок — времени нет. Тыфу, ты, незадача, вот уж не повезет, так не повезет — и душу отвести не на ком. И тут мысль благородная: а поведу-ка я его в район для показа. Это ж какая острастка тамошним ссыльным будет! От хорошей мысли даже Яшку под зад пнуть забыл. Длинную веревку достал: один конец на шею Яшке петлей накинул, другой к седлу приторочил. Подумал-подумал и связал ему руки назад чресседельником из сыромятины. Так-то оно надежней.

Где-то за лесом взошло-приподнялось солнышко, и день уже занимался золотым отблеском его лучей на облаках в серовато-дымчатом еще небе. Приподнялся и Мустафа в седле, суровым взглядом окинул округу — орел! — и тронул коня. Путь не ближний, однако и дело большой важности — Мустафа пленника ведет!

...Семилетний Витя сидел на опушке леса, прямо у дороги, и играл сам с собой «в ножички» блестящим складешком: недавний подарок старшего брата. Это было излюбленное место, куда он убегал с раннего утра. За дорогой, за неглубоким оврагом, начиналась скошенная стерня, и видать было далеко в обе стороны. Чуть поодаль, у начала болота, дорога разветвлялась: направо уходила между стерней и болотом к обозримому горизонту, туда, к картофельным полям, и дальше в лесостепь, налево, как бы обозначая границу того же болота, уходила в глубь леса по направлению к станции. Вот он поднял голову — и обмер! Там со стороны полей всадник

показался. Этого объездчика малышня узнавала за версту. Мустафа! Им матери пугали непослушных: поймает, в черный мешок завернет, ведьмам унесет... У Вити ноги занялись от страха. Не выпрямляясь, задом, задом попятился к спасительному лесу. Наткнулся на корягу лежалую, перелез через нее, можно и тикать уже. Но что-то остановило мальчонку. Мустафа был теперь боком к нему, и Витя увидел, что за лошадью, как-то странно подпрыгивая, неравномерно бежит маленькая фигурка человека. Вот дорога пошла по небольшому взгорку, и он отчетливо разглядел, что человек спутан веревкой на шее. И в этом мальчике он безошибочно угадал того нищенку с вокзала. Жалость волной прилила к его сердечку с новой силой: он вспомнил тот благодарный кусок хлеба, ощутил во рту ржаной привкус той горбушки, и страх постепенно уходил из него. Витя слился с корягой, не понимая, что весь как на ладони. «Папке расскажу, он тебе покажет, Мустафа-бустафа», — погрозил он Мустафе, подбадривая себя. А тот уже поравнялся с его укрытием, ничего не замечая, и если бы не заунывное пение, можно было бы подумать, что он спит.

Зато Яшка увидел его, узнал и в мгновение вспыхнувшей надежде закусил губу. Витя крепче сжал складешок, и в тот же миг его увлекла какая-то неведомая сила: он бесшумно выскользнул из укрытия за спиной нищенки, подскочил к нему и быстро перерезал податливую сыромятину. Яшка вскинул руки и усилием ослабив петлю, выскользнул из нее, и оба опрометью кинулись к лесу...

...Двум-трем деревенским бабам случилось увидеть на самой околице, как, сбросив арачкнку в дорожную пыль, в каком-то бесноватом недоумении карябал камчой бритую голову суеверный объездчик Мустафа. Ну и вызнали, что сбежал от него непостижимым образом ссыльный мальчуган, спутанный веревкой на шее. Да еще и со связанными назади руками. Кто мог средь бела дня сотворить такое? Дак ясно, что нечистая сила! И в ужасе ускакал Мустафа в обратном направлении, а бабы поспешили с новостью к народу. Поплутав по деревне, весть та обросла уточнениями и в окончательной версии выглядела так, что вел, мол, Мустафа на веревке оборотня в виде ссыльного парнишки. А на подходе к их деревне тот превратился в черного бородатого козла. Потянул Мустафа за веревку, а тот встал на дыбки, брыкнул передними ногами, захохотал и — исчез. Но кровь на веревке осталась — сами видели. Знать-то, худо будет Мустафе опостылому, ибо кровь эта на нем. Совсем не так передала эту историю мать Вити, Мария, «блажному» Ивану, который аккурат перестилал у них в доме полати.

Поминутно крестясь, в благоговейном страхе, поведала она ему правду о случившемся. И сказала, что заперла примчавшихся от леса беглецов в амбар, подальше от греха. Малец-то — ссыльный. Что ж, мол, дальше-то делать, дед Иван?

Вообще-то его звали Иоганн, но кто теперь это помнит. На поселение в деревню привезли его в 38-м году,

и уполномоченный пояснил, что, мол, немца помирать к вам привез: придавило его на лесоповале так, что даже срок ему скостили. И сильно перепугал сельчан неведомым словом — «секта». Сам он толком не знал, что это такое, но предостерег, что, мол, держите ухо востро: сидел немец за это дело, и в той секте был за главного, ну, что-то навроде нашего попа. Засомневалось тут «общество»: ну что это за поп такой — ни кожи, ни рожи, ни креста на шее. Вон недавно батюшка на похороны из области приезжал, так оно и видно, что поп: и крест, и ряса, и борода, и кадило. А у этого — ну, никакой авторитетной видимости. Одно слово — дохлятик, хоть и секта. В общем, предостережения в расчет не взяли. Однако и на постой к себе брать никто не поторопился, так поселили его в амбар, на подворье у престарелой, напрочь глухой бабки Акулины. Той все равно было, кто он есть, да она и сама уже жильцом-то не считалась на этом свете. Вот и рассудили, что хоть он ей зимой печку топить поможет, и то польза большая.

А «блажным» прозвали, потому что в разговорах все каких-то блаженных упоминал. Его послушать, так все кругом блаженные. Даже нищие. Чудак, словом. Но вскоре дошло до сельчан: а ведь мастеровой, однако. Сначала одарил он местную детвору диковинными игрушками, которые начал мастерить из обыкновенной соломы. Радости детишек не было предела. А миниатюрные, отливающие на солнце соломенным золотом, домики-избушки с затейливыми оконцами, вызывали восхищение и у взрослых. Факт же, что не брал за это

денег, совсем расположил сельчан к нему. Стали подкармливать Ивана кто чем мог. Может, потому он и помирать раздумал.

Как-то само собой забылось и что он немец. И все чаще стал раздаваться на глухом подворье Акулины звонкий детский смех. Да и сам двор помаленьку менялся. Вон и заплот выровнял, ворота и стайку подправил. В амбаре, что в твоей горнице: пол настелил, все щели законопатил. А как резные наличники на окнах у Акульки появились, то и приглашать стали его бабы где что по хозяйству подмогнуть. Однако самое дивное диво, что старая Акулька стала на улицу выходить, а то и в гости к кому. Раньше-то дальше дома не хаживала; разве что у заплота постоит недвижно, словно выпь на болоте, да вслед детворе когда клюкой погрозит, вот и весь выход. Теперь же и сама какое слово скажет и разбирать вроде стала, о чем говорят. Ну, и обмолвилась, что, мол, лечит ее Иван. Молитвами лечит.

— Колдун! — догадались сельчане едино. — Вот оно что! Секта — это и есть колдовство. Сам-то, вишь, не крестится, а молитвы говорит: колдун и есть. А поскольку колдунья в соседней деревне уже была — Шурка хрипатая, которая лечила по деревням от всего и от всех, то стали с нетерпением ждать между ними стычки. Шурка и вызвалась было дать ему укорот, но почему-то после первого же разговора с ним перестала появляться в их деревне.

Тогда прохиндей Егор, брат Марии, пьяница и скандалист первой марки, принародно, к вящему удовольст-

вию мужиков, чей авторитет пошатнулся из-за этого деда, пообещал обломать ему руки-ноги. И однажды, изрядно дерябнув браги, оповестил собутыльников, что идет бить морду «вражине». А как зашел да долго не появлялся, обеспокоились мужики, не наломал ли и в самом деле дров, не управил ли деда. Нет, ничего, объявился-таки. Только был Егор отчего-то странно тих и растерян. Сколько ни бились, ни на какие вопросы не ответил, лишь рукой махнул и ушел, вобрав голову в плечи. Даже брагу не пошел допивать.

И все бы ничего, да вот перестал с той поры пить Егор. Не пьет — и все тут. А как в деревне объявится, сразу к Акулине во двор, ну, дак ясно, что к тому деду Ивану.

Вскоре же объявил друзьям, что вовсе не колдун Иван, а как есть Божий человек. И судачит деревня, что поют, мол, они с дедом какие-то песни заунывные и молятся вместе с Акулиной. Вон и Мария туда повадилась. Бдительные люди в деревнях всегда водились, так что не замедлил явиться и уполномоченный с портупеей через плечо. Походил, порасспрашивал, но поскольку Иван никого никуда не агитировал, то и трогать его не стал. А что Егор схудился, так это, мол, от сильного перепоя у него на нервной почве беда приключилась. Да и говорено же было, что с Иваном якшаться себе дороже будет.

— Да-а, спортился Егор, — согласилось «общество». — И ведь мужик как мужик был: пил, матерился... А вот, поди ж ты, как с «блажным» связался, пропал.

Как нагадали прямо, что вскоре он и в самом деле пропал: уговорил его дед Иван списаться со своей бывшей женой и детьми, да обсказать ей свои перемены, вот и уехал Егор к семье куда-то за Байкал. Со всей деревней напослед простился. Простите, говорит, меня, люди добрые, если кого когда обидел. Вас же, мол, за то Бог тоже простит. Но браги ни сам, ни Мария на проводы не готовили, что сильно расстроило мужиков. Так что на станцию его один Иван и провожал: кому охота на «сухую» проводы проводить?

С приходом войны люди чаще стали вспоминать о Боге, кто-то стал подольше задерживаться у Ивана. Была среди таких и Мария.

И вот сейчас она недоумевала: как мог ее сынок, смиренный из смиренных, без страха решиться на такое? Как мог Мустафа этого не заметить? Может, и вправду — нечистая тут?

— Ну, про нечистую не знаю, — усмехнулся Иван, — а вот что «совершенная любовь изгоняет страх» — знаю. Эта любовь Божия к нам через детей наших возвращается. Люди гонят ее от себя, а она ворочается. Видать, Вите и послал Бог такую любовь. А что до Мустафы, так ведь Бог может так помрачить разум человека, что он на тебя будет смотреть и не видеть. Вспомни, как Господь Петра из темницы мимо стражников вывел.

— Так то когда было, — засомневалась Мария. — Нонче такого не бывает.

— Бывает, Мария, бывает. Ну, пойдем, посмотрим на ту силу нечистую.

Они прошли к амбару, и Витя, выбежав, повис на руке у мамы.

— Деда Ваня, это Яшка, — зачастил он, указывая на своего оробевшего друга. — Его Мустафа на веревке вел, а я ножичком ремешок у него назаде — вжик! — И тут же испуганно: — Что с тобой, деда?

Иван не отрываясь смотрел на Яшку и, опустившись на чурку, тянулся к нему рукой, чуть слышно шепча по-немецки:

— Jakob... Jakob. Komm her...

И Яша, повинувшись какому-то неясному чувству, с некоторой опаской шагнул к странному деду, назвавшему его по имени. Старик силился встать, но не мог и только прикоснулся к лицу мальчика. Это прикосновение вмиг воскресило в памяти Яшки его самые счастливые беззаботные мгновения раннего-прераннего детства. Эти руки он не спутал бы ни с какими другими.

— Grossvater, — надтреснутым колокольчиком тенькнул его голосок, и он зарылся лицом на груди своего деда.

Хрупкие плечи его заходили от рыданий: лишенный возможности быть ребенком последние годы, стеснявшийся плакать даже перед своими родными, он высвождал теперь душу от непомерного груза взрослости. А «блажной» Иоганн немигающими глазами отыскивал в небесах Бога и славил Его за подаренное благословение, которого терпеливо, с надеждою ждал без малого семь лет.

Горе не может копиться и угнетать душу человека вечно. Не допускает то Господь. Придет, непременно придет момент, когда горе, вспыхнув вдруг очищающим огнем, в одночасье сгорит насовсем. И озарит тот огонь, и наполнит нас светом неизъяснимой радости. Радости в Боге нашем. И нет счастливее момента, чем этот, и все скорби ничтожны в сравнении с ним. Именно так чувствовали себя эти два обездоленных человека, на данный момент самых счастливых на земле. Не было уже ни высылки, ни тюрьмы, ни котомки нищенской, ни плетей, ни Мустафы. Только дед и внук. И рядом, потрясенная невиданным промыслом Божиим, склонившаяся в смирении на колени женщина. И еще растерянный, подозрительно шмыгающий носом Витя.

И – Бог!



Я воззвал к Тебе

КамАЗ вынырнул из распадка на вывозку и, плавно влившись в глубокую натруженную колею, тут же побавился в росте. Артамоныч, легко спрыгнув с подножки на обочину, помахал вслед удаляющимся машинам. Теперь он остался в тайге один. На ближайšie 30 километров вряд ли можно было сыскать хоть одну живую душу. Он с удивлением посмотрел на перелесок за узкой полоской поля. Еще вчера, возвращаясь с Ярым на лесосеку, любовались они при неярком свете утомленного солнца этой полыхающей плакатным пламенем тонкоствольной порослью осины вперемежку с березой да возвышающимися кое-где малахитовыми кронами красавиц-сосен. Словно зеленые купола беседок разбросал кто-то по янтарному берегу.

И вот этого-то янтарного берега сегодня как и не бывало! Только жиденькие останки бледно-желтой лисья да изумрудная темень паутины низеньких елок проглядывала сквозь в момент отощавший, полураздетый ветром лес.

Артамоныч почувствовал остудное дыхание ветра и поежился. Невесть откуда в душу прокралась неясная тревога. От той видимой легкости, с которой он спрыгнул с машины, не осталось и следа. Ныла поясница, ло-

мило ноги. Сказалась последняя авральная работенка, где он, катая бревна, изрядно надсадился. Потом не один день «обмывали» успешное ее окончание. Похоже, он и здесь переусердствовал.

И сейчас, подставляя разгоряченное алкоголем лицо холодному ветру, он уже предчувствовал свинцовую тяжесть завтрашнего похмелья. Собственно, оно уже подступило — это липкое, тошнотворное состояние, откуда и кралась та неясная тревога. Так что, чего уж тут неясного? Как раз все и ясно.

На деляну он возвратился напрямик через тайгу. На небольшой поляне близ ручья расположился их стан: кое-что из лесотехники да жилой вагончик. А перед ним — печка железная, из которой торчали тлеющие головешки и, с тайной надеждой возгореться, вспыхивали на мгновение после каждого приличного порыва ветра.

Эти три последних дня бригада гулеванила после благополучной отправки вагонов с лесом в Казахстан. Непосвященный не подозревает даже, сколько может выпить лесоруб-шабашник от предприятия «воруй-лес» в тайге. Поэтому вам честно скажут: много. Потому как работают они в основном для того, чтобы пить. Правда, до полочки они иногда говорят о машинах, квартирах, которые можно было бы приобрести при их-то заработках, но в том-то и каверза предлога «до», что сразу же после полочки вы их и днем с огнем не встретите в тайге недели две, а то и более. Пока не пропьются. Чтобы начать все сначала. О, это воистину чертово колесо.

А у колеса край есть? Есть. Вот, как выпускает изношенный баллон колеса воздух и его уже никуда не деть, кроме как выбросить на свалку, так вышибает и дух из беспмятного лесоруба. И пристраивают его собутельники, реже родные, если вдруг погодились, где-нибудь на погосте. Горят мужики. Сгорают уже здесь, на земле, не дожидаясь направления в ад...

В общем, в пятницу, «уговорив» последнюю бутылку самогона, поехали по домам «догоняться». Он же остался. И дом далековато (аж в Казахстане!), и продолжать уже не было сил. А не пить в тайге с мужиками?! Ну, знаете ли, как-то не укладывается. М-да. Это вот как сидеть в тесной комнате с курящими и пробовать не дышать дымом. К обществу, опять же, неуважение. И попытки к подобному неуважению заметил он у себя с той поры, как у него появилась Библия. Читал ее сначала только для того, чтобы досадить одному знакомому старику-баптисту. Хотел «закопать» его, показав весь абсурд их веры. Тут было задето его, Артамоныча, самолюбие. Все же в свое время он с блеском сдал институтский экзамен по атеизму. Помнится, как он ярко доказал убежденному атеисту-экзаменатору то, что Бога нет!

И вот, свободно манипулируя названиями мировых религий, даже обладая знанием различных течений внутри каждой из них, он потерпел крах, когда с ходу решил закопать этого малограмотного собеседника. Из атеистических брошюр он не раз вычитывал, как виртуозно

труженики безбожия укладывали на лопатки верующих всех рангов и конфессий. Именно с таким настроем он и принялся обрабатывать старичка, но...

Случилось почему-то наоборот: каждым своим ответом ли, вопросом ли ставил тот оцененного в пять высших баллов атеиста в тупик. Но не злорадствовал при этом, а еще и подал идею: «Ты, — говорит, — конечно, грамотный человек и можешь меня запутать. Но для этого надо все же знать, что в Библии написано о Христе, а вам этого не обсказали, как я вижу. Ты сказал, что врага нужно бить его же оружием? Вот тебе наше оружие — пробуй!» — и подарил Артамонычу Новый Завет. «Ну, что ж, логично», — признал тот и без особой радости принял подарок.

Но с той поры эта книжка не давала ему покоя. И хотя в ней, по его мнению, все было поставлено с ног на голову, он все чаще задумывался над прочитанным. А двадцатую главу от Матфея, о хозяине виноградника и наемных работягах, даже обсуждали всей бригадой после работы. И чуть не передрались. Иные были обескуражены оплатой, произведенной хозяином, уверяя, что это натуральная обдираловка: кто-то, мол (как и у нас), пашет весь день, а получает наравне с бездельником! Другие поняли намек и перешли на личности. Слово за слово...

В общем, притчу признали вредной, подстрекающей к мордобою. Но странное дело: нет-нет, да и вспоминал кто-нибудь из них те слова: «Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе... Или глаз твой завистлив от-

того, что я добр?» Подспудно Артамоныч понимал, что тут заложен глубокий смысл, но втиснуть его в рамки своего представления о справедливости не получалось. Трудно, ох, как трудно понять простому смертному очевидные Божьи истины. И Артамоныч уже с нетерпением ждал возвращения в Казахстан, чтобы вновь увидеться со стариком и прояснить, упорядочить наступившую в сознании сумятицу.

Он выглянул из вагончика, и на него дохнуло мертвящим, коченеющим запахом зимы. Было еще только четыре часа дня, а в тайге уже сгущались сумерки. В вагончике же было темно. Он зажег керосиновую лампу на стене, завалился на кровать и... растворился в этакое зыбкое пограничное состояние между реальностью и воображением.

Все вокруг пришло в движение: стали отчетливо раздаваться чьи-то голоса, кто-то совершенно явно ходил рядом и разговаривал с ним. Он силился стряхнуть навяждение, но не мог даже шевельнуться. Сцены, одна страшнее другой, настолько парализовали его, что весь тот кошмар он начал воспринимать как реальность. То он барахтался в невесть откуда взявшемся болоте, то настырный косматый медведь силился пролезть в вагончик.

Где-то глубоко в подсознании он понимал, что это сон, и мучительным усилием вырывался из этого кошмара. Подбегал к бачку с водой у двери, пил кружкой холодную воду и снова погружался в небытие. Совсем очнулся

только от жуткой боли в желудке, вскочил с кровати с натурально чугушной головой и какое-то время соображал, где кошмар, а где явь. Боль прошла так же быстро, как и появилась, но внутри осталось чувство жжения и какой-то непривычный солоновато-терпкий привкус во рту. «Чертов чемергес. Не хотел ведь пить, идиот!» — обругал он самогон и самого себя. Теперь уже горело все тело, и он весь покрылся липким, леденившим тело потом. Трясущимися руками Артамоныч подкрутил фитиль в лампе и переоделся в сухое белье. И вмиг почувствовал, как похолодало. Он открыл дверь и — ахнул!

Поляна, лес, все вокруг было укрыто белым саваном, а снег продолжал сыпать сплошной стеной. И как ему ни было тошно, а зачарованного взгляда от тайги он не мог отвести. Стволы деревьев четко обозначались в этой снежной пелене. «Как живые изваянья в искрах лунного сиянья, чуть белеют очертанья сосен, елей и берез», — вспомнились любимые когда-то стихи. И хотя луны не было, очарования от этого не убавилось: «Красота-то какая! Теперь оклематься бы только». Но оклематься не выходило. Боли в желудке участились и длились уже подольше. Потом и вовсе началась рвота. Ну, дело, в общем-то, привычное, дело похмельное. Он надел чью-то фуфайку, взял фонарик и вышел в буран. Отойдя метров на десять, подсветил фонариком в небо: оттуда, словно из бездонного жерла, безудержным потоком неслись, обгоняя друг друга, пушистые хлопья снега. Он закрыл глаза и почему-то вообразил, что летом стоит на току под

шнеком комбайна, ссыпаящего зерно. И тут его снова вырвало. Рвало натужно, болезненно, и на белом-пребелом снегу он отчетливо различил подозрительно темное пятно. Что это? Он посветил фонариком: кровь? Голимая кровь! Зашлось сердце и лихорадочно заработала мысль. Он кинулся к бензовозу: «Только бы из распадка выбраться на вывозку. Там-то, по прямой, вытяну. Только бы из распадка...» Он запрыгнул на подножку и тут же кубарем скатился с нее, и закатался по снегу, и завыл от отчаяния: аккумулятор-то Ярый увез еще третьего дня на подзарядку в леспромхоз. И вскочил, и забегал суетливо, проваливаясь в рыхлом снегу: «Сдохну! Пешком не дойду — замерзну. Дебил! Сам себе погибель уготовил...»

Безысходная тоска захлестнула его, и он отрешенно поплелся в вагончик. Выпив воды, рухнул на кровать. Внутри все горело синим пламенем и после каждого глотка воды, чуть утишающего жжение, кровь, скопившись в желудке, выплескивалась горлом наружу. Сколько ее еще там осталось? Он машинально взглянул на часы. Полночь... До рассвета в тайге еще часов восемь. Да и зачем уже он — рассвет? Подожди... Артамоныч снова засуетился: «До рассвета дотяну, поползу до вывозки: может, хлыстовозы не все вернулись. Подберут. Лишь бы не уснуть».

...Если бы кому погодило быть в эти предрассветные часы в тайге, он увидел бы странную картину: по стану, почти по колено в снегу, бродил, поминутно падая, мужик в огромной, не по размеру, фуфайке. Вот, приту-

лившись к сосне, он бессвязно забормотал: «Не спать... Рассветет, я дойду... Господи, пособи! Что я сказал? Ну, да, Господи... Конечно, Бог... Молиться. А как? Спаси и помилуй. Спаси меня, грешного... Грешного! — вскинулся Артамоныч. — Ну, куда ж я со свиным рылом да в калашный ряд? Раньше надо было думать!» Мысли путались, калейдоскоп памяти настойчиво прокручивал в затухающем уже сознании неприглядные эпизоды его непутевой жизни, и волна раскаяния окатила все его существо.

Он упал на колени, и в этот миг вдруг ясно ощутил, что его слушают. Его слышат! Более того, он понял, что его прощают! Он беззвучно заплакал, потянулся рукой к небу и прошептал бескровными в крови губами: «Простишь ли, Господи?» — и неуклюже, кулем, ткнулся в снег...

Поляна вдруг осветилась теплым весенним лучом, оделась и расцвела полевыми цветами, и он увидел себя, четырехлетнего, бегущего по этому разнотравью. Он бежал туда, на конец света, где просвет лесной дороги сомкнулся с небом и где, говорила мама, живет Бог. Но сколько он ни бежал, а там, вместо конца света, оказывался поворот и открывался новый горизонт. Ах, сколько уже таких зигзагов пробежал он! И вот возвращался к маме, заплаканный, что так и не увидел Бога.

— Не плачь, — утешала его мама. — Главное-то, что Боженька видел тебя. Он теперь знает, что ты ищешь Его, и всегда будет с тобой. Ты обязательно увидишь Его,

но только в самую-самую нужную для тебя минуту! Ты же помнишь это?» — сказала она сыну.

— Я теперь вспомнил, — виновато признался он и хотел обнять себя, маленького: «Беги, Витя, беги, зови Бога... У меня минута такая...»

На воздушной вертикали неумолчно славил Творца жаворонок, Божий дозорный. Вдруг он начал быстро, по спирали снижаться и оказался мужичонкой из одной только головы-туловища — колобок!

Он подлетел к Артамонычу на бензопиле, управляя огромными ушами, как крыльями, и дивное пение сменилось жужжанием мотора: «Вон он, в снегу! Топтыгин, видать, задрал! — кричит колобок. — Закрой ему глаза». Тут и сам медведь из ниоткуда над ним склонился, дышит тяжело. «Все же ты достал меня, Топтыгин, — не удивился Артамоныч и незлобно укорил его. — Небожь, в вагончике, когда я с ружьем, так ты боялся. Ого!» Медведь провел мохнатой лапой ему по лицу, закрывая глаза. «Не надо, не боюсь я», — хотел он сказать и улыбнулся дрогнувшими ресницами. «Живой?» — оторопел Топтыгин и закричал голосом Ярого: — Живой! Толик, давай его быстро в кабину. Сам наверху, если че! Может, доведем, успеем еще. Как чувствовала моя Дарья беду: привези его, да привези...»

КамАЗ несся с бешеной для тайги скоростью, вздымая тучи снежной пыли: «Артамоныч, не уходи! — издалека доносился голос Ярого. — Дюжь, дорогой, дюжь, однако! Я же вон старее тебя. Спасут тебя, спасут!»

Не знал ведь Ярый, что он уже спасен...

...Из рассказа хирурга: больной, поступив в тяжелом состоянии, перед операцией пришел в себя. Огромная потеря крови. Синдром Меллори-Вейса, осложненный абсцедирующей пневмонией. Диффузное желудочное кровотечение. Четыре трещины слизистой желудка. Жить оставалось не больше двух часов...

